

- МЕССИЯ... УХОДИТ -
отрывки из романа П. Межурицкого
- ПОЧЕМУ МЫ РУССКИЕ? -
психологический анализ В. Ротенберга
- „КВИТОК С УКАЗАНИЕМ, ПРИЛОЖЕННЫЙ
К ПУСТОЙ БУТЫЛКЕ" - концептуальное
искусство под увеличительным стеклом
- РОССИЙСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС -
свидетельство очевидца
- УСПЕХ ПЕРЕСТРОЙКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ЕВРОПЕ - заметки социолога



110

MI



№ 110

МИШАНТАЖИ
МОСКВА



ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ ЕВРЕЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ИЗ СНГ В ИЗРАИЛЕ

ДВАДЦАТЬ ДВА



110

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ СОДЕЙСТВИИ МИНИСТЕРСТВА АБСОРЬЦИИ
И ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1998

ЛИТЕРАТУРА

Ирина Двосина

ПРАМ-ПА-ПАПАМ ФАРС В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Действующие лица:

Вдова Покойного – Сусанна, актриса
Подруга Покойного – Мара, актриса
Друг Покойного – Милкин, актер
Сын Покойного – Молодой актер без имени
Покойник – Автор

На сцене граб, усыпанный цветами.

*У гроба Вдова Покойного. Слева, чуть поодаль – Сын,
справа – Подруга и Друг Покойного.*

Вдова Покойного. Зачем ты оставил нас в это смутное время? Зачем бросил нас, таких беспомощных, на краю века? Ты все решал за нас, и мы привыкли. Привыкли ловить каждое твое слово, повиноваться каждому жесту. Ложась в гроб, ты указал нам дорогу, и мы пойдем по ней. Но сегодня мы здесь и скорбим. Вот сын твой, наш мальчик, дитя любви.

Сын Покойного. Да, папа.

Вдова Покойного. Вот соратники твои и друзья.

Подруга и друг Покойного. Мы здесь и скорбим.

Вдова Покойного. И я здесь, твоя безутешная вдова.

Подруга Покойного (*другу Покойного*). А она неплохо выглядит для безутешной вдовы, вы не находите?

Друг Покойного. Страдания красят человека. В особенности – женщину.

Из гроба протягиваются руки. Покойник хлопает три раза в ладоши, затем садится в гробу, устремив скорбный взгляд в пространство.

Покойник, он же Автор. Что вы делаете?

Подруга Покойного, она же Мара. Хороним вас.

Автор. Я спрашиваю, что вы делаете?

Друг Покойного, он же Милкин. Играем вашу пьесу, господин Автор.

Автор. Есть еще варианты?

Все молчат.

Вы не пьесу играете, вы произносите мой текст. Мой текст, остолопы. А он уже не должен быть моим. Это ваш текст, ваша пьеса, ваши роли. Меня уже нет. Автор должен умереть в актере.

Мара (*В сторону*). Мог бы найти себе и другое место.

Автор. Мара, я все слышу. Э-э, как тебя, Сусанна, где ты там? Почему вскочила с колен, птичка моя?

Сусанна. Но меня не видно из-за гроба всю.

Автор. Кому нужны твои увядшие прелести? Сядь! (*Ложится в гробу. Поднимает руку и крутит запястьем, подгоняя актрису*).

Сусанна (*Обходит гроб и встает перед ним на колени лицом к зрителям. Обиженным тоном*). Зачем ты оставил нас в это смутное время? Зачем бросил нас на краю века? Ты все решал за нас, и мы привыкли. Привыкли ловить каждое твое слово, повиноваться каждому жесту. Ложась в гроб, ты указал нам дорогу, и мы пойдём по ней. Но сегодня мы здесь и скобрим, э... скорбим. Вот сын твой, наш мальчик, дитя любви.

Молодой Актер. Да, папа.

Сусанна. Вот соратники твои и друзья.

Мара и Милкин. Мы здесь и скобрим.

Сусанна. И я здесь, твоя безутешная вдова.

Мара (*Подходит к гробу, заглядывает за него и возвращается*

обратно. Очень искренне). А она неплохо выглядит для безутешной вдовы. Вы не находите?

Милкин (*Старательно декламирует*). Страдания красят человека. В особенности – женщину.

Автор (*Садится в гробу*). Мара, почему такая пауза? Ты, что, пописать сбежала?

Мара. Я на нее должна смотреть или нет? Откуда я узнаю, как она выглядит, если я ее не вижу из-за гроба?

Автор. А ты пошевели своими куриными мозгами и, хотя бы на это время, закрой рот.

Молодой Актер. А я вообще молчу.

Мара. А с тобой никто и не разговаривает.

Молодой Актер. Вот я и молсю все время. У меня и секста совсем нет. Весь секст повысеркивали. „Да, папа, да, папа“ – и все.

Сусанна. Не нарывайся.

Автор. Может быть, вы дадите и мне вставить слово? Премного благодарен. Господин, Милкин, я вижу вы работаете, стараетесь, ищете. Единственное, что я мог бы вам посоветовать – убрать некоторую напыщенность. А то так раздулся, что хуй разулся. (*Ложится, снова садится*). Сусанна, где ты, детка, я тебя не вижу? Сядь за гроб. (*Ложится*.)

Сусанна. (*Из-за гроба видна лишь ее голова*). Я здесь, твоя безутешная вдова!

Мара (*Обиженным тоном*). А она неплохо выглядит для безутешной вдовы, вы не находите?

Милкин (*С грустью*). Страдания красят человека (*Вытирает ладонью воображаемую слезу*). В особенности – женщину.

Мара. Ваши акции пошли в жопу, Арнольд!

Автор. Попрошу без отсебятины.

Мара. Какая отсебятина? Никакой отсебятины. У меня так написано.

Автор. Дайте текст.

Мара. Он у вас, господин Автор.

Автор (*Ложится, садится с текстом в руках*). Какая там реплика была до этого?

Милкин. В особенности женщину.

Автор. Что, в особенности женщину?

Милкин. Не знаю. В особенности – женщину.

Автор. А, вот. Подруга покойного. Ваши акции пошли в жо..., что такое?

Мара. Сами написали, а сами говорите.

Автор. Да нет, „в гору“! Здесь опечатка. „Ваши акции пошли в гору, Арнольд. Что, намереваетесь занять место покойного?“ Это значит, их курс поднимается. Клуша.

Мара. Мне все равно, что у него поднимается, я уже заучила! Что теперь, переучивать?

Автор. Закрой свой поганый рот. Милкин, это хорошая находка со слезой. Только возьмите платок.

Милкин. У меня нет.

Автор. Возьмите шарф у Мары. Мара, дай Милкину шарф.

Мара. Еще чего? Он его замочит.

Автор. Я тебя умоляю, Мара, ты видела, чтобы эта бездарь выдавила из себя хоть одну настоящую слезу?

Милкин. Отчего же... одну скупую... на спектакле.

Мара. Не обмочит, так чесноком надышит.

Автор. Отдай ему шарф, я сказал!

Мара отдает шарф Милкину. Автор ложится.

Сусанна (*Осуждая происходящее*). И я здесь, твоя безутешная вдова.

Мара (*С ненавистью*). А она неплохо выглядит для безутешной вдовы, вы не находите?

Милкин (*Очень грустно*). Страдания красят человека (*Подносит шарф к глазам*). В осо... а-а-пчхи!!! Женщин-и-и-апчхи!!! (*Чихает, сморкается, слезы бегут у него потоками*). Чем ты его надушила, Мара? Забери, забери его скорей!

Мара. Да пошел ты в гору, Арнольд! Я до него теперь не дотронусь! Что, намереваетесь занять место покойного?

Милкин. Ну, как хочешь (*Прячет шарф в карман*). В смысле – сейчас не об этом. (*Делает знак рукой*). И...

Все хором. Прам-пам-папам, пампа папапапам. Прам пам папам прм-па па-па-па-пам (*Мотив отдаленно напоминающий траурный марш Шопена*).

Автор (*С тех пор, как Милкин стал чихать, он, высунув голову, с интересом наблюдал всю сцену. Теперь же – садится*). Стоп, стоп, стоп, это что? „Прам-папам“, это что?

Милкин. Это нет фонограммы, господин Автор.

Автор. На пульте! Почему нет фонограммы?

Милкин. Оператора нет. Он отпросился.

Автор. У кого отпросился?

Милкин. У меня.

Автор. А ты кто?

Милкин. Я заведующий труппой.

Автор. У нас что, есть заведующий? Надо же, сколько лет работаю здесь и не знал. Ну ладно. С самого начала вместе с господином заведующим. (*Ложится. Садится*). А кто у нас еще есть?

Сусанна. Мара у нас профсоюзный деятель, а я работаю с молодежью.

Милкин. А еще я веду литературную часть.

Мара. Есть два директора, три заместителя, главный бухгалтер, старший кассир...

Молодой Актер. И ещё стризенная дама – насильник по связям.

Автор. Поди ж ты... Прогоняем все с самого начала.

Сусанна. У меня ноги затекли. Можно, я буду стоя?

Автор. Стоя, лежа, вверх ногами, в любой позе, – только давай, давай! Давай!

Сусанна. Зачем ты оставил нас в это смутное время? (*Сдерживая смех*). Зачем бросил нас на краю века? Ты все решал за нас, и мы привыкли. (*Изо всех сил сдерживая смех*). Привыкли ловить каждое твое слово, повиноваться каждому жесту. Ложась в гроб (*хохочет*), ты указал нам дорогу, и мы пойдем по ней. Но сегодня я не могу больше, наш мальчик, дитя любви...

Молодой Актер (*Задыхаясь от сдерживаемого смеха*). Папа... папа...

Сусанна. Соратники...

Мара (*Одна. Милкин не может говорить*). Мы здесь и скорбим.

Сусанна. И я... безутешная...

Мара (*Не понимая, что происходит*). А она неплохо выглядит для безутешной вдовы, вы не находите?

Милкин в ответ громко хохочет.

Мара. У вас, что, акции в жопу пошли, Арнольд?

Взрыв хохота. Мара тоже не выдерживает и хохочет, подхватив общую инфекцию. Автор садится в гробу, устремив скорбный взгляд в пространство. Смех, пройдя все стадии, постепенно угасает.

Автор (*Выждав паузу*). А знаете, почему это происходит? (*Актеры смотрят в пол*). Это происходит потому, что у вас у всех узкий коридор сознания. У вас нет действия, нет интриги, нет задачи. Вы не просто человека хороните, остолопы. Вы хороните главу мафии.

Молодой Актер (*Потрясенный*). Мы сто, мафия?

Автор (*С ужасом*). Он пришел на репетицию, не прочтя пьесы?!

Молодой Актер. А сегой-то я ее буду всю ситать, если я только в одной сцене занят?

Автор (*Задумчиво*). Прам-па-папам... (*Устало*). А пошли вы все... За акциями Арнольда. (*Ложится в гроб*).

Молодой Актер. А се я такое сказал! Нисего я такого не сказал!

Мара. Ну и молчал бы. Кто тебя за язык тянул?

Сусанна. Да, милый мой, так вляпаться...

Мара. Он теперь все тут разнесет. Помните, как он в прошлый раз из гроба выпрыгнул и за мной погнался? Я тогда еле до туалета добежала.

Милкин. Ну что вы паникуете? Я же спокоен!

Мара. Он мужиков не бьет.

Сусанна. Тише, тише, он все слышит.

*Актеры оглядываются на гроб, затихают.
Из гроба доносится мощный храп.*

Мара. Как же, слышит... Его теперь пушкой не разбудишь. Я знаю.

Молодой Актер. У-у, мафиози!

Сусанна. Удивительно, как только мы его выносим?

Мара. Ну, на тебя-то он меньше всего орет.

Сусанна. Ты бы постояла, как я, на коленях целый час. А у меня еще месячные.

Милкин (*С интересом*). Как, до сих пор?

Мара. А чего ты молчишь? Чего вы все молчите? Все молчат, вот он и бесчинствует.

Милкин. Я, положим, не молчу.

Сусанна. Молчишь.

Милкин. Я знаю, что не молчу. Это ты молчишь. А я не молчу.

Молодой Актер. Я молсю, потому что у меня секста нету.

Мара. А ты вообще заткнись.

Молодой Актер. А посему я должен заткнуться? Я такой же как и вы. Я тозе хочю обсяться.

Сусанна. Я с удовольствием буду с тобой общаться. Я очень люблю общаться с новенькими.

Молодой Актер. Я знаю, посему вы молсите.

Милкин. Ну, мы, положим не молчим.

Сусанна. Вот видишь, и Милкин с тобой общается.

Молодой Актер. Вы молсите, потому что вам хоросо.

Все. Это нам хорошо?

Молодой Актер. Вам хоросо.

Все. С чего бы это нам было хорошо?

Молодой Актер. У вас все есть. И секст, и роли, и имена.

Мара. Да забери ты себе этот текст вонючий! У меня от него просто скулы сводит.

Сусанна. Текст, конечно, еще тот...

Милкин. Я, кстати, набросал свой вариант пьесы...

Мара. Что, намереваетесь занять место покойного?

Милкин. ...и если вы меня поддержите, то я учту все ваши пожелания.

Сусанна. Я хочу, чтобы это был мюзикл. (*Поет*). Я танцевать хочу!

Мара. Чтобы меня весь спектакль искали. За те же деньги.

Молодой Актер. И, чтобы секста у всех было поровну, стоб по справедливости. А то все себе позабирали. Ис, вы, мафиози какие! Вы зэ все называетесь на нашем театре. Все из него тассите,

Милкин. Ты, молодой человек, поживи в театре, сколько мы тут прожили, а потом будешь именъ право, а пока ты...

Мара. Никто, ничто и звать никак.

Сусанна. Ты же только пришел!

Молодой Актер. Да стобы так называться как вы, нужно тут родиться. Ис вы..., баобабы!

Мара. Слушай ты, дитя любви! Сусанна, уведи его куда-нибудь, иначе я за себя не ручаюсь.

Сусанна. Ну разве так общаются, дружок? Пойдем, пойдем со мной, пойдем туда, где нам никто не помешает. Техникой речи позанимаемся.

Молодой Актер. Да оставьте вы меня! Сто вы тычете этой техникой речи? Меня взяли, потому сто я луцце всех пою. А у вас, мезду процим, ни слуха, ни голоса.

Сусанна. Слысали, сто он сказал? Тьфу! Вы слышали, что он только что сказал? У меня нет ни слуха, ни голоса! Это у меня! Да я пела в этом самом... эту самую! Арию Розины. (*Поет каватину Людмилы*).

Мара раскладывает питье и бутерброды на паребрике гроба и ест. Никто никого не слушает.

Милкин. Вот я набросал свой собственный вариант постановки. Вдова Покойного. „Зачем ты оставил нас в это смутное время?“ На сцену выходит Смутное Время, мы подумаем, кого назначить на эту роль. Время зажигает свечи у гроба и становится еще смутнее. Затем оно подводит актеров к самому краю авансцены и, на словах „Зачем бросил нас на краю века“, как бы бросает их и запрыгивает на гроб. Гроб висит, подвешенный цепями к штанге, мы подумаем, как это сделать, и Время раскачивается на нем как на качелях. Эдакий маятник судьбы.

Молодой Актер. Все становимся вокруг гроба. Он есё пустой. Вдова Покойного берет баскетбольный мяць и с репликой „Зацем ты оставил нас в это смутное время“, делает пас партнеру. Тот, кто ловит мяць, говорит следуюссю реплику: „Зацем ты бросил нас, таких беспомосьных на краю века“ – и бросает следуюссему. Кто пропустит мяць, тот и покойник. А в следуюссей сцене мозно

покойника и поменять. И, стобы каздому из запасных давали сыграть хотя бы по одному разу.

Сусанна (*Танцует и поет*). Зачем ты оставил нас в это смутное время? За что, за что, о боже мой, за что, за что, о боже мой...

Мара. А по мне, так гори оно все огнем. Меня сейчас вытошнит. Чем это воняет? Чесноком, что ли?

Милкин. Тем не менее, нужно потребовать произвести в тексте пьесы некоторые изменения. Я кое-что наметил. То, что сейчас мы имеем, всерьез у гроба произнести нельзя. Кстати, где пьеса?

Мара. В гробу я ее видала!

Сусанна. Точно, в гробу. (*Лезет за текстом. Шарит в гробу*). Спит, как убитый.

Молодой Актер. А сёй-то он не храпит?

Актеры настороженно затихают.

Мара (*Задавленно*). Подслушивал!..

Милкин. Ну, мы же... ничего особенного... (*Автору, в гроб, отчаянно*). А впрочем, я давно собирался с вами поговорить, господин Автор!

Сусанна (*В гроб*). Не обращайтесь внимания, господин Автор! Так, болтовня пустая... Как всегда.

Мара (*В гроб*). А меня вообще тут не было, я в туалет ходила.

Молодой Актер. А сёй-то он не отвечает?

Пауза.

Сусанна. И лицо какое-то странное... Как будто он и не слышит ничего.

Мара. Ну и слава богу!

Сусанна (*Напряженно*). Милкин, ты какой институт не закончил, медицинский?

Милкин (*Осознавая происходящее*). Так я же гинекологом не стал, а не этим...

Сусанна. Живого от мертвого ты можешь отличить?

Мара чуть не блюет.

Милкин (*Берет руку Автора, слушает пульс, смотрит в зрачки, затем вытирает руки шарфом Мары и бросает его в гроб*). Мы его потеряли.

Актеры пятятся назад.

Мара. Мама родная! Что же теперь делать?

Сусанна. Я даже не знаю... А что обычно делают в таких случаях?

Молодой Актер (*Неуверенно*). Гроб заказывают, цветы...

Все оторопело смотрят на гроб в цветах. Затем медленно, как сомнамбулы, приближаются к гробу и постепенно занимают места согласно мизансцене.

Сусанна (*Растерянно*). Зачем ты оставил нас в это смутное время? Зачем бросил нас, таких беспомощных, на краю века? Ты все решал за нас, и мы привыкли. Привыкли ловить кабое твоё слово, повиноваться каждому жесту. Ложась в гроб, ты указал нам дорогу, и мы пойдём по ней. О, господи, что я говорю? Но сегодня мы здесь и скорбим. Вот сын твой, кошмар какой, наш мальчик, дитя любви.

Молодой Актер (*Деревянно*). Да, папа.

Сусанна. Вот соратники твои.

Мара и Милкин. Мы здесь и скорбим.

Сусанна. И я здесь, твоя безутешная вдова.

Мара (*Тупо*). А она неплохо выглядит для безутешной вдовы.

Милкин (*Тупо*). Страдания красят человека. Зачем я это сказал?

Мара (*С ужасом*). Ваши акции пошли в гору, Арнольд. Кто такой Арнольд? Он что, намеревается занять место покойного?

Милкин (*С ужасом*). Сейчас не об этом... (*Делает жест рукой*). И!

Актеры. Прам пам папам, па-папапа-папапам...

*Сцена темнеет, идет занавес,
а они все поют, поют, поют...*

КРАЙНЯЯ ПЛОТЬ
(отрывки из ненаписанного романа)

«Будущее страны сидит в ее тюрьмах»
Из неслужебных прозрений
старшего лейтенанта КГБ А.П. Петрова

Бывший вундеркинд Аркаша Гольдберг женился на сорокалетней девице Верочке Семисветовой, когда ему еще не стукнуло и двадцати. За три года до этого он с отличием закончил местный университет, но особо выдающимися способностями уже не отличался. Его интеллектуальная история началась еще в материнской утробе, однако об этом чуть позже. Родился Аркаша со знанием трех теоретически мертвых языков: латыни, древнееврейского и церковнославянского.

- Я рад приветствовать вас, - едва появившись на свет, обратился он к принявшему его врачу на золотой, периода расцвета гения Вергилия, латыни, так как не слишком представлял себе время и место своего рождения. Заметив, что его не поняли, он повторил ту же фразу по древнееврейски, потом, уже теряя надежду, по церковнославянски и только после этого горько разрыдался. Услышав нормальный крик новорожденного, акушерка вышла из оцепенения и привычно, но запоздало шлепнув младенца по попе, разрыдалась сама. Врач долго и мрачно молчал, потом кашлянул и диковато покосившись на присутствующих, спросил как бы неизвестно кого:

- Вы, кажется, что-то сказали?

Членораздельная речь в чужом исполнении моментально изменила настроение отчаявшегося было младенца и, прервав рыдания, заново окрыленный надеждой он вновь пошел на контакт, легко трансформировав церковнославянский в современный русский:

- Простите, может быть, я не вовремя?

Акушерка охнула, повалилась на колени и перекрестилась. Подобное желание пережил и врач. Правда, будучи

старым евреем и коммунистом со стажем, он не стал креститься, но ему вдруг захотелось репатрироваться в Израиль, и только ввиду очевидной невозможности осуществить свое намерение немедленно, он не скомпрометировал себя на месте, а, напротив, начал действовать в высшей степени осмотрительно.

- Вы нам нисколько не мешаете, - поспешил он успокоить Аркашу. - Более того, мы только вас и ждали. Сейчас, если позволите, вас запеленают и мы продолжим беседу. Ах, да! Генриетта Соломоновна, у вас мальчик. Прошу убедиться, - и почувствовав необходимость предъявить вещественные доказательства, врач пошевелил указательным пальцем пипку малыша.

- Прости, Господи! - простонала акушерка.

Так, собственно, и родился Аркаша, причем в суматохе все забыли о еще одном свидетеле, вернее свидетельнице происходящего. Это была студентка медицинского института Верочка Семисветова, проходившая практику в роддоме и присутствовавшая на описываемых родах. Всю свою жизнь вплоть до настоящего момента Верочка пребывала в постоянном предчувствии чего-то необычного, что со стороны легко можно было принять за вполне естественное для девушки перманентное ожидание первой любви. Обманутые ее светлым, полным загадочной надежды взглядом, многие пытались по случаю стать счастливым воплощением этих девичьих грез, однако наткнулись на столь брезгливый отказ, что иные из пострадавших надолго оказывались избавленными по крайней мере от одного из пороков. Младенец Аркаша еще только появился на свет и не успел произнести своих первых слов, а Верочка уже влюбилась в него, да так, что сразу же решила его украсть и лишь не знала пока, как это сделать. Пораженная своим замыслом, она отступила к стене, устояв на ногах только благодаря ее поддержке.

- И вы тут, - вовсе не обрадованный этим открытием, обратил на нее внимание врач. - Тогда тоже постарайтесь сосредоточиться. Видите, младенец уснул. Вполне возможно, что это наш последний шанс. Не хочу никого обижать, но, Генриетта Соломоновна, ей-богу, лучше бы вы родили дауна.

- Что вы такое говорите, Борис Семенович! - будучи совершенно не готовой к подобному уровню обслуживания со стороны своего человека, справедливо возмутилась Генри-

етта Соломоновна. - Нам вас солидные люди рекомендовали.

- Жаль, что они не порекомендовали кого-то другого, потому что худшего несчастья, чем рождение чудо-ребенка, во всяком случае для свидетелей, я лично вообразить не могу. Короче, нужно заставить младенца молчать. Тем более, что это и в его интересах.

Тут младенец, вполне вероятно - не без наущения свыше или ниже, проснулся и бодро, чтоб не сказать издевательски, осведомился:

- О чем задумались, господа?

Повисла зловещая пауза, во время которой Бог ведает, какого рода планы собственного спасения роились в мыслях взрослых людей. И тут Верочка Семисветова вступилась за младенца:

- А я думаю нужно все ему объяснить, потому что он хороший мальчик и нас послушается.

- Да кто мы такие, чтобы он нас послушался? - в глубине души радуясь появлению альтернативного, хотя и бесконечно глупого предложения поинтересовался Борис Семенович. - И что вы сами-то понимаете? Комсомолка!

- А вот и не комсомолка! - поспешила возразить ему Верочка. - Мои родители - баптисты и с детства воспитывали во мне негативное отношение к советской действительности.

Разумеется, ни в ясли, ни в детский сад в целях собственной и его безопасности чудо-ребенка не определили, и к трем годам без всякой посторонней помощи Аркадий начисто забыл мертвые языки. Кроме того, зная не понаслышке отдельных ближних, родная мать учила его скрывать свои дарования не только от дальних. Однако будучи ребенком именно необычайно даровитым, Аркадий настолько преуспел в конспирации, что ко времени поступления в школу его полная неспособность к обучению не вызывала уже ни малейших сомнений у специалистов. Попав таким образом в интернат закрытого типа для умственно отсталых детей и тем самым избавившись от домашней опеки, наивный и послушный Аркадий вскоре поразил издававших виды дефектологов своими академическими успехами, которые они, разумеется, приписали себе. Явный идиот уже через месяц специального обучения прекрасно

разговаривал, все понимал, а еще через две недели бегло читал и писал без единой ошибки диктанта любой степени сложности. Это ли не было совершенно очевидным доказательством полного превосходства советской дефектологии над всякой другой?

Заинтересованные лица сумели резво начать раскрутку педагогического феномена и само время, казалось, благословило их затею. "Вы только подумайте, - едва не приплясывая от радости на трибуне, делился с народом замечательной новостью лично Никита Сергеевич Хрущев. - Отныне у нас каждый дурак может гарантированно стать умным. Советские люди никому не завидуют". Таким образом, Аркадий стал четвертым по счету в табели о рангах любимых детищ Хрущева после космонавтов, кукурузы и острова свободы Куба, который по причине своей умопомрачительной отдаленности вполне тянул на статус земного революционного рая. Нередко, сидя на коленях у Никиты Сергеевича, Аркаша в присутствии всех членов Политбюро легко производил арифметические действия с простыми и десятичными дробями, декламировал наизусть отрывки из поэм Маяковского и под занавес виртуозно исполнял "Интернационал" на губной гармошке. Естественно, у новоявленного любимца отца нации появилось множество могущественных недоброжелателей, хотя на людях все только и норовили его приласкать. "Что-то уж больно увлекся он этим еврейчиком, - шептались за спиной Хрущева. - И так слишком много умных развелось. Теряем, товарищи, авторитет в народе". Вскоре в стране произошел дворцовый переворот и к власти пришли прагматики, осудившие экстравагантные выходы своего бывшего шефа. Кубе, космонавтам и кукурузе деликатно, но твердо указали на их истинное место в длинном ряду идеологических ценностей. Что же касается Аркаши, то ему, как самому свежему из фаворитов недавнего руководителя, грозили гораздо большие неприятности, вплоть до случайной трагической гибели с последующими почетными похоронами и некрологами на первых страницах газет. Кстати, именно такой вариант как наиболее предпочтительный, настойчиво пытались навязать Леониду Ильичу Брежневу, взошедшему на престол. Но тот доверился своему внутреннему, в данном случае не совсем кристально прагматическому ощущению. Все-таки его смущал возраст Аркаши. "Я не могу этого объяснить, - говорил новоявленный Генеральный секретарь своим людям, - но он ребенок". "Леонид Ильич, но

если для пользы дела и в интересах народа?" - спрашивали его. "Я не теоретик, но именно для пользы дела не надо трогать ребенка, если имеется такая практическая возможность". "Тут мистикой попахивает, Леонид Ильич", - осторожно предостерегали ответственные за чистоту идей товарищи. "Ну и черт с ней, - упрямылся Брежнев. - Говорю, душа не лежит!" К душевным порывам очередного хозяина его соратники обязаны были, как минимум, всерьез прислушиваться.

Аркаша закончил университет, ничем выдающимся себя не проявив, и начал работать в НИИ, где в буднях великих строек в течение ближайших тридцати-сорока лет ему и предстояло окончательно и благополучно иссякнуть. Однажды он заболел.

Однажды он заболел. На вызов пришла участковый врач, совершенно измотанная благородной трудовой деятельностью за смехотворную зарплату женщина. Аркаша сразу ее узнал, потому что это была не кто иная как Верочка Семисветова.

- Разве вы не помните меня, доктор? - спросил он и в голосе его прозвучала обида.

- Конечно, помню, - искренне обрадовалась Верочка. Она и впрямь узнала его, хотя в первый и последний раз они видели друг друга в день Аркашиного появления на свет. - Куда же вы исчезли так надолго?

- Я не исчезал, обо мне газеты писали.

- Я газет не читаю.

- Меня и по телевизору показывали, правда давно.

- Я и телевизор давно не смотрю.

- Как же вы живете?

- Это как вы живете? Разве можно читать эти газеты и смотреть этот телевизор?

- Но у меня других нет.

- Поэтому вы и болеете.

С этими словами Верочка принялась осматривать больного. Осмотрев, резюмировала: "Граница сердца слева несколько увеличена, отчетливых шумов нет, периодическое раздвоение первого тона. На митральном клапане выраженные сильные шумы. Граница печени увеличена до края реберной дуги; и вообще, вы сильно изменились за последние двадцать лет. Однако все можно поправить, если вы не

будете принимать лекарства, которые я обязана вам прописать, а воспользуетесь русскими народными средствами, которые я не имею права вам рекомендовать.

Они беседовали еще часа полтора, а через месяц поженились.

В миллионном городе двадцать восемь человек разного возраста независимо друг от друга писали книгу под названием "О сущности всех явлений". Все они состояли на учете в КГБ, но старший лейтенант госбезопасности Петров думал пока не о них. "Мне уже сорок лет, и, стало быть, наверняка в живой природе не осталось ни одной кошки или собаки из тех, что населяли мир во времена моего детства. А воробьи, а голуби? А лошади, наконец? Интересно, как долго живет верблюд?" - вот о чем думал он, сидя в своем служебном кабинете в разгар ненормированного рабочего дня. Между тем ближе всех к окончанию работы над рукописью названной книги, по оперативным, данным, подошел некто Борис Семенович, бывший врач, а ныне пенсионер, член КПСС, участник войны. Пора было приглашать старика на беседу. Жил он тихо и, судя по всему, был настоящим советским человеком, скорым на покаяние. Безусловно он быстро и искренне согласится признать свое творчество идеологически вредным. Однако эта рутинная работа хотя и не сулила неприятностей, но и не обольщала особыми надеждами на продвижение по службе. Подобно поэту Гавриле Державину и, вероятно, множеству других людей, Андрей Павлович попеременно ощущал себя то Богом, то червем. На сей раз ему захотелось разыграть партию Бога. «А что если созвать подпольный съезд авторов книги "О сущности всех явлений"? Что-то же должно из этого получиться, тем более, что комбинация интуитивно ощущалась, как несомненная своя польза, и, следовательно, стоила того, чтобы побороться за ее осуществление на благо Родины. Вспомнился агент Херувим с явившейся к нему Богородицей и Ее странным заявлением о скором крещении евреев в его приходе. Имеется ли между всем этим какая-то связь?» Дело в том, что более половины авторов злополучной книги были евреями. Старший лейтенант Петров Андрей Павлович вернулся к аналитическим выкладкам. Вот предварительный итог его трудов на этом поприще:

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

В настоящее время непосредственным несанкционированным поиском истины в письменной форме в городе занимается двадцать восемь человек, из них:

Евреи - 16 чел.*

Русские - 8 чел.

Другие - 4 чел. Из других: Армяне - 1 чел.

Украинцы - 2 чел.

Неустановленной национальности - 1 чел.

**Из шестнадцати евреев, по паспорту евреями являются восемь. По иудейским законам из шестнадцати евреев евреями являются одиннадцать, а из двенадцати неевреев евреями являются пятеро, из них русских - 2 человека, украинцев - 1, а также армянин (у всех указанных лиц бабушки по матери - еврейки). Однако догадывается, что он еврей, только армянин.*

Андрей Павлович отложил перо и закурил. Ему стало до жути ясно, что на самом деле пересчитать евреев совершенно невозможно, но как ни крути, их получается абсолютное большинство. "Ну и черт с ними", - подумал старший лейтенант, потому что и без евреев на душе было муторно. Только за последний месяц от трех сотрудников управления, в том числе от самого товарища подполковника ушли жены. Дело было не в том, от кого ушли, но к кому. Добро бы к заморским военным атташе или хотя бы к своим доморожденным вышестоящим руководителям. Так нет ведь. Одна сбежала с неким жуткого вида и запаха странником, каликой переходим, специализирующимся в основном на академических кругах и обласканным ими за всякую ахинею то про златоглавого истукана с серебряными персями, то про состояние, в котором живет душа в ближайшее время после смерти. Другая ушла к хлыщеватому руководителю аттракциона мотоциклистов-гонщиков по вертикальной стене, а жена товарища подполковника, стыдно сказать, к бывшему капитану ОБХСС, ныне безработному тунеядцу и борцу за экономические права трудящегося человека. Списать бы все эти неприятности на бабские неустанные поиски истинного оргазма, да забыть, но профессиональная совесть чекиста не позволяла: живут ведь люди и без оргазма, как, впрочем, и без абсолютной истины. Хотя без истины и оргазма тут, конечно, не обошлось. Оргазм, как и коммунизм, более всего хорош в перспективе. Видать, чувствуют эти сучки будущих победителей. Он

еще сам, подлец, в полном говне и ведать не ведает, какое светлое карьерное будущее его ждет, а у нее уже от него, подлеца, истинный оргазм...

Тут часть паркетного покрытия пола кабинета со скрипом начала приподниматься, и в образовавшемся отверстии появилось благородно покрытое слоем трудовой пыли плакатное лицо рабочего человека средних лет. "Неужели Аркаша?" - в первое мгновение обомлел Андрей Павлович, но уже в следующее от сердца отлегло:

- Ах, это вы, князь! Поздравляю! Не думал, признаться, что вы столь близки к цели.

- А мне казалось, что вы все знаете, - князь окончательно выбрался из своего подполья и огляделся. - Ну что ж, именно таким я и представлял себе рабочее место рядового сотрудника органов и самого рядового сотрудника органов как такового. Скажу прямо, стыдиться вам нечего. Более того, вы прекрасны. Можно я полью цветы на подоконнике? Они мне тоже сразу очень понравились. Обожаю гвоздики и КГБ за его безукоризненный вкус. Кстати, где тут у вас можно принять душ, переодеться и вообще привести себя в порядок после многолетней трудовой вахты? Я ведь отлично понимал, что рано или поздно здесь окажусь, но Боже, как мне не хотелось, чтобы меня сюда доставили или, на худой конец, вызвали. Не переносу пошлости. Пришлось пятнадцать лет у всех на виду рыть подкоп, объясняя интересующимся, что прокладывается новый трамвайный маршрут. Господи, как я ошибся! В ответ какой-то чертов трест вызвал меня на социалистическое соревнование...

- Не утруждайте себя, князь. Я сам могу поведать вам всю вашу историю.

- Отец Дмитрий настучал? Я, право слово, более других на него и рассчитывал. Но не надо недооценивать первоисточников, ибо даже самооговор природы есть лишь одна из бесчисленных форм ее чистосердечного признания, равно как насильственная доставка фактов на алтарь естествознания - в сущности та же явка с повинной. Такова природа, которая сама жаждет дотошного исследователя своих тайн, в особенности греховных. А кто такой преступник или даже просто подозреваемый, как не дитя природы-матери и, допустим, Бога-отца?

- Если национальность детей определять только по матери, как это принято у евреев, то все грехи наши

можно смело списать на мать, из чего следует, что Бог - это Бог, а природа - дьявол.

- Да-с. Интересно, из партии за такие идеи исключить могут? От церкви запросто отлучат. Вот ведь какой у нас с вами интересный разговор получается. А эти ваши осведомители перевирают действительность, искажают мои слова и факты биографии. Многого они просто не в силах осознать. Боюсь, нет ничего глупее, чем воображать себе картину мира и судить о личности, опираясь на донесения агентов, показания свидетелей и интерпретации аналитиков.

Даже если старший лейтенант и собирался ответить князю, то он не успел этого сделать, потому что селекторная связь донесла голос секретарши:

- Андрей Павлович, к вам Херувим.

В кабинет вошел отец Дмитрий и, узнав князя, тут же все неправильно понял, весьма кисло ухмыльнувшись в бородку.

- А вот и не угадали, - опроверг столь естественную в данных обстоятельствах догадку князь. - Я здесь на экскурсии, но, признаться, рад нечаянной встрече со своим духовником. Для наших прихожан вовсе не является секретом, что сознатальная часть духовенства именно таким образом исполняет свой патриотический долг. Никто никогда и не верил в такую глупость, как отделение церкви от государства, потому что, если еще можно спорить о том, что бывает с душой после отделения от тела, то все, увы, прекрасно себе представляют, что бывает с телом после отделения души, даже в том случае, когда отдельно взятое тело берет под свое покровительство великая держава, такая, как Древний Египет, например.

Сконфуженно уставившись на дырку в полу и, по всей видимости, пребывая в некотором транс, отец Дмитрий протянул шефу донесение, которое тот принялся читать вслух, сославшись на то, что у них теперь не может быть от князя никаких тайн:

ДОНЕСЕНИЕ

Сим сообщаю, что вверенный моему пастырскому попечению князь, о спасении души которого молитвенно взываю к Небу, прилюдно похвалялся в намерении досрочно завершить рытье подкопа в здание управления КГБ, смущая благочестивых богомольцев возможностью осуществления чудесного подвига своего. Херувим.

- Ну что ж, - старший лейтенант отложил донесение в сторону, - спасибо, батюшка, за содержательный текст. Но почему в нем так мало о размышлениях героя? Почему так скупо о его внутреннем мире и внешнем круге общения? Поймите, то, что вам порой представляется мелочью, может оказаться самым существенным для читателя. Какой-нибудь, знаете ли, штрих, отдельная интонация, и все оживет, заиграет. Почему бы вам не начать посещать городскую литстудию, а?

- Да-с... Не знаю как вам, а мне, пожалуй, пора, - откланялся князь.

- Счастливый человек, что хочет, то и делает. - вслед ему с оттенком легкой зависти предположил Андрей Павлович. - А мы с вами, батюшка, люди служивые и выходом, который у нас прямо под ногами, вряд ли воспользуемся. А ведь далеко бы ушли, пока хватятся.

- От награды своей уйти хочешь, сын мой, - не сдержался от профессионального искушения ввернуть к месту проповедь священник. - В трудах и днях своих служивый человек во всем подобен праотцу нашему Аврааму...

Князь вышел из подземелья в районе городского сада и сел на скамейку, стоящую напротив изваяния кормящей львицы. Разумеется, вечерело. Просто не могло не вечереть в такое время суток и при таком настроении. Князь испытывал душевное опустошение человека, достигшего цели. Торжество удовлетворения иссякало и его место занимало осознание несоответствия потраченных сил в сравнении с ничтожностью достигнутого результата, который еще вчера, не будучи осуществленным, казался равным вселенной. И вот вселенная вновь обернулась бездной, которую хоть войной заполняй - все лучше, чем пустота. Однако и войну просто так из пальца не высосешь.

Последний раз князь присел на скамеечке в городском саду лет десять назад. Теперь, вопреки своим ожиданиям, нарядной гуляющей публики, которой положено было заполнять сад летними вечерами, он не обнаружил. Князь обернулся, но и за его спиной, на главной и всегда многолюдной улице города не было и намека на праздную, казалось бы обязательную, как законы природы, толпу. "Это надолго", - подумал князь. Ощущать себя одной из немно-

численных неприкаянных теней вовсе не хотелось. "Сматываться надо. Для начала хотя бы на чай к Верочке Семисветовой, говорят, она замуж вышла, чего просто не может быть, а если может, то любопытно, как?". Князь вновь начал ощущать некоторый интерес к жизни, который все нарастал по мере того, как нахлынувшие воспоминания властно подчиняли его себе. Прошлое возвращало к будущему. Ах, Верочка, самый драгоценный из нерасколотых орешков. Впрочем, любовь - это всегда патология, и поди угадай, что именно в этом смысле ласкает данную конкретную душу, которую к тому же обмануть невозможно. Одно было совершенно очевидно: такая женщина и без оргазма любить умеет, как однажды очень похоже едва не сказал сразу обо всех крепостных крестьянках дворянский историк Карамзин, чем вызвал большой общественный резонанс в аристократической среде.

Князь познакомился с Верочкой незадолго до того, как приступил к рытью подземного хода. Он как раз закончил трактат о тайнах души человеческой под названием "Кислое яблоко". Среди прочего в этом трактате князь обратил свой внутренний взор на мыслящие машины. Ему стало совершенно ясно, что в скором времени жизнь обычной советской семьи будет невозможна без прибора, совмещающего в себе функции пишущей машинки, арифмометра, телеграфа, записной книжки и даже газеты. Как раз в это время с великой помпой была принята и обнародована новая программа монопольно правящей в стране партии, определявшая перспективы развития общества на ближайшие двадцать лет. Князь с надеждой принялся за изучение заведомо исторического документа, но к своему удивлению убедился, что ни о каких семейных мыслящих машинах в программе и речи нет, зато говорится о выплавке чугуна на душу населения. Он пришел в ужас. Общество, восхваляющее программу собственной деградации? Интересно, какие в таком случае планы будут еще через двадцать лет, и еще через двадцать, и еще? Добыча огня трением на душу населения? Неужели Россия решила таким образом вернуться в Золотой век? На мгновение князь ощутил прилив гордости. Вне всякого сомнения, только великий народ мог додуматься до такого. Однако гордость тут же сменилась тревогой. Осуществить подобную затею, находясь в окружении стран, у которых совсем другие планы на будущее, представлялось возможным разве что при условии, что все народы Земли добровольно воспламятся той же

идеями. А почему, собственно, обязательно добровольно? Именно на этом месте размышлений и произошел внезапный коренной перелом в душе мгновением раньше совершенно советского князя. Он сразу уловил глобальный смысл потрясения и слегка удивился лишь тому странному обстоятельству, что небеса тотчас не разверзлись. "Отныне я не союзник народу моему!" - вслух произнес он и заболел. Утром состоялся визит врача на дом и, таким образом, князь оказался первым пациентом Верочки Семисветовой, месяц назад окончившей институт. Увидев перед собой очаровательное и наивно пытающееся сыграть профессиональную уверенность создание, князь, несмотря на ужасное самочувствие, умилился и сразу же раскололся:

- Пирамидон мне не поможет, доктор. По всей видимости, я должен принять католицизм.

- Хорошо, - согласилась Верочка. - А кроме католицизма вы что-нибудь пробовали? Давайте измерим температуру.

- Да, у меня жар, но отнюдь не бред, доктор, - заволновался князь. - Говорю вам, никакой аспирин мне не поможет. Позовите священника. Или позвольте я исповедуюсь вам.

В результате его исповеди Верочка не поняла только одного:

- Почему вы решили, что вам нужно принимать именно католицизм?

- А что же еще, доктор? Все русские люди, глубоко разочарованные в отечестве своем, всегда принимали католицизм.

- Не все и не всегда.

- Ну, по крайней мере, князь.

- Простите, а в настоящий момент вы православный?

- Вообще-то в настоящий момент я комсомолец, - вдруг страшно удивился этому несусветному обстоятельству князь, хотя уже добрых лет десять числился таковым.

- Вот глупость какая. Где мой комсомольский билет? - и почувствовав явное облегчение, князь вскочил с кровати. Через несколько минут, когда остатки красненькой книжечки с профилем вождя-основоположника на обложке и фотографией самого князя анфас на первой странице догорали в пепельнице, пациент Верочки был практически здоров. Начало ее самостоятельной медицинской практики можно было бы считать более, чем успешным, если бы не устный выговор от начальства, полученный ею в тот же день:

- Ну, знаете ли, милочка, потратить три часа на визит к больному?

- Но я его вылечила, - недоуменно оправдывалась Верочка.

- В больницах лечат! - не выдержал и взорвался заведующий. - А вас вовсе не за тем к больным посылают.

Это была одна из тех истин, которую Верочка, несмотря на все возрастающий трудовой стаж, так и не смогла до конца усвоить.

Отец Дмитрий и старший лейтенант КГБ Андрей Павлович Петров на "вы" перешли относительно недавно. Когда-то они были одноклассниками и общались, разумеется, на "ты". До того, как стать одноклассниками, они воспитывались в одной группе детского сада и уже тогда навсегда запомнили друг друга. Время было шаткое. В Европе усилиями не одних только немцев начал устанавливаться полный немецкий порядок, а в России первому поколению детей, рожденному при порядке советском, исполнилось уже больше двадцати лет. Оба порядка безапелляционно провозгласили себя единственно возможным счастливым будущим человечества (один без евреев, но пока с капиталистами, а в перспективе вообще с новыми людьми и понятиями, другой - пока с евреями, но без капиталистов, однако с той же перспективой), за которое и боролись, каждый пока на своей и благоприобретенных территориях. Надо сказать, что четырехлетние Дима и Андрюша достаточно свободно ориентировались в нешуточной идейной борьбе взрослых. В этом не было ничего удивительного: нравственные и политические истины, изучаемые в университетах, практически в полном объеме успешно преподносились и в детских садах. Собственно, иначе и быть не могло.

- Понимаешь, Андрюша, - шепотом говорил своему приятелю Дима, когда они сидели на горшках, временно как бы вызволенные из-под совместной абсолютной власти режима дня и плана воспитательных мероприятий, - вот я, например, хожу в детский сад, регулярно посещаю танцевальный кружок, декламирую стихи, стоя на табуретке, сам немного сочиняю, а настоящего признания нет. Но стоит мне плюнуть на родителей, бросить детский сад и начать шататься по улицам, обмотавшись собачьей цепью, неся при этом что угодно, лишь бы оно было лишено внят-

ного смысла, как моя незаурядность не будет вызывать малейших сомнений и уже о моих родителях будут говорить, попрекая собственных детей: "Есть же у людей счастье".

- Не верю я в дешевую славу, - не разделил подобных мечтаний Андрюша. Он поднатужился и с нескрываемым наслаждением, даже не пытаясь сдержать гамму сопровождающего действие естественного звукоряда, опорожнился. Это был неосмотрительный поступок с его стороны. Чуткая нянечка, не принимая никаких возражений, сразу же подняла его с горшка, одновременно бросив вопрошающий взгляд и на Диму.

- Я еще не кончил! - в панике вскричал последний, для пущей убедительности изобразив тщетность потуг при своем великом усердии.

- Смотри у меня! - на всякий случай пригрозила нянечка, но на время оставила его в покое. Впрочем, удовольствие было уже не то, и Дима задумался над тем, почему получается так, что явный выигрыш в кайфе как правило сопровождается проигрышем во времени, а выигрыш во времени почти всегда достается ценой очевидных потерь в кайфе.

И только о главном, что приближалось неумолимо, не то, что взрослые, но даже дети говорить не решались. И все-таки однажды Андрюша сказал, остановив на Диме экзаменующий взгляд:

- Будет война.

- И мы победим, - почему-то отведя глаза в сторону, тихо пообещал Дима.

- Вы-то да, - задумчиво согласился Андрюша, - а нам что с того?

И тогда Дима обозвал приятеля "контрой", а приятель ему в ответ сказал "жид", на чем, собственно, разговор закончился и началась драка. Детей с трудом расцепили, и поскольку, судя по внешнему виду, потерпевшей стороной оказался Андрюша, Диму наказали до конца дня. Этим не ограничились, предложив маме продолжить воспитательный процесс в домашних условиях. И только когда поздно вечером папа пришел с работы, и вместо заслуженного морального отдыха получил известие, что сын его - хулиган, Дима, наконец, раскололся, рассчитывая, максимум, на некоторое смягчение наказания. Однако в мгновение ока из малолетнего преступника он превратился в настоящего героя, любимого и хорошего сына, которым гордится семья.

"Ну, я покажу этой контре!" - глядя его по голове, твердо кому-то пообещал папа. Это было неправдоподобно, как чудесный сон. На следующий день, еще до обеда, Андрюшу неожиданно забрала домой заплаканная бабушка. Больше он в детском саду так и не появился.

А потом случилось то, что случилось, после чего чудом спасшиеся от тотального уничтожения остатки еврейских семей частью оседали в местах эвакуаций, а частью, у кого получалось, возвращались в родные места, где их без энтузиазма встречали новые жильцы их довоенных квартир. В общем, несмотря на победу советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, жида опять имели, что послушать. Но Дима уже не лез в драку. "Кто же это все время нас подставляет?" - размышлял он и не находил убедительного ответа. Созревал мыслью и Андрей. Отроки оказались зачисленными в один класс средней школы. Пару дней они из последних сил не замечали друг друга, понимая однако, что объяснение неизбежно. Инициативу проявил Андрей:

- Ты меня прости, - сказал он, - я тогда был неправ, хотя и сейчас не думаю, что это была наша война. Правда, деваться нам и в самом деле было некуда, но воевали мы в интересах евреев.

- И ты меня прости, - в свою очередь извинился за давний грех Дима. - Ты, конечно, контра, но для меня это уже не так важно.

- Еще бы, - усмехнулся Андрей, - теперь вы, евреи, сами становитесь контрой, - и сделав этот исторический вывод, пророчески добавил: - Боюсь, вы и на этом поприще вполне преуспеете.

Вплоть до окончания школы они дружили, оказывая, по мнению учителей, друг на друга самое дурное влияние, а потом пути их разошлись. Видимо, обоюдное влияние и впрямь сказалось, причем самым неожиданным образом. Во всяком случае, ничем другим объяснить превращение Димы в служителя культа, в котором наряду с другими достойными людьми с церковного амвона поминались и "от жидов пострадавшие", а его друга - в профессионального защитника идей коммунизма я бы не решился. Но это я. Сами друзья, встретившись однажды на подпольной выставке идеологически вредных художников, были далеки от моей интерпретации причин случившихся с ними метаморфоз.

Выставка состоялась на квартире Верочки Семисветовой.

- Вы, конечно, из КГБ, - шутя расколола она молодого Андрея Павловича, на что тот, нимало не смутившись ответил:

- Считайте меня коммунистом.

- Да пошел ты! - громогласно подключился к беседе уже изрядно подвыпивший автор полотна под названием "Как нам обустроить христианский погром", сюр-передвижник Василий Вий-Близдиканьский. Все стихли в ожидании продолжения монолога, однако Вася умолк.

- А вот и чадолюбивый отец наш, - внезапно широко распахнув объятия, он бурно устремился навстречу появившемуся отцу Дмитрию.

Священник и кагебист порознь усердно изучали каждую выставленную работу, но, поскольку комната была одна и стен в ней было не более четырех, они довольно скоро сошлись в одной точке перед уже упомянутым полотном Вий-Близдиканьского.

Инициативу, как всегда, проявил Андрюша:

- Что же ты, сукин сын, в равнины-то не подался?

- Зато ты теперь - комиссар.

- Да уж.

- М-да.

Так они подакали и помычали в задумчивости, в сущности уже в общих чертах предугадывая будущее, в котором и стоят теперь перед отверстием в полу кабинета старшего лейтенанта КГБ Андрея Павловича Петрова.

- Очень странно, - на этот раз первым прервал молчание отец Дмитрий. - Мне кажется, вы и тогда были уже старшим лейтенантом.

- Честно говоря, старшим лейтенантом я и тогда уже не был. А, впрочем, точно не знаю. Да и никто никогда не узнает. Во-первых, КГБ умеет хранить свои тайны, а во-вторых - объективно довольно трудно вычислить истинные звания наших людей. Вполне может оказаться, например, что товарищ маршал является моим осведомителем, а сам я завербован каким-нибудь младшим оперуполномоченным ЦРУ. Но в среднем, по моему внутреннему ощущению получается, что я на сегодняшний день либо младший генерал, либо сверхполковник. Это, конечно, без учета погрешности измерений. Однако мы заболтались, а мой рабочий день, да и героическая история нашей с вами любимой соборно-артельной родины еще не закончились...

В НИИ, где служил Аркадий, конечно же, существовал официальный табель о рангах, однако, по счастью, в стране истинно духовной вес и значение человеческой личности определяются скорее ее местом в иерархии неформальной.

Итак НИИ, где служил Аркадий, а с ним еще около тысячи научных и инженерно-технических работников, на самом деле более являлся неким духовным орденом, чем единицей плановой экономики. На низшей его ступени, независимо от занимаемых должностей, пребывали сотрудники, чьи души окормливались в рамках дозволенной крамолы. Эти читали братьев Стругацких и слушали Окуджаву. Ступенью выше стояли те, кто уже вкушали запретные плоды. Эти читали Солженицына и слушали "Свободу". И, наконец, духовная элита читала и слушала себя самое. Ее представители, не щадя сил, напропалую сотрудничали с вражеской резидентурой, переправляли рукописи за границу, давали интервью иностранным корреспондентам, минировали мосты, подсыпали сахар в ракетное топливо, служили агентами влияния Тель-Авива и Ватикана, ходили с рогатиной на медведя и лично водили дружбу с академиком Сахаровым. Понятно, что между официальным табелем о рангах и неформальной иерархией существовал совершенно определенный параллелизм, в котором все свободно ориентировались. Так, например, вызов на профилактическую беседу в КГБ соответствовал должности старшего инженера. Повторный же вызов с предварительным обыском на квартире и последующим общим собранием сотрудников НИИ, единодушно и гневно клеймящим отщепенца, тянул уже на должность завлаба, доктора наук. Ну, а взятие под стражу с упоминанием имени сподобившегося по "Голосу Америки" считалось мыслимой вершиной местной карьеры. На большее в провинции рассчитывать было попросту невозможно. Такие люди после отсидки в город не возвращались. Оно и понятно: впереди им светили Москва, Тель-Авив, Америка, Европа и практически гарантированная всероссийская слава.

Все это, разумеется, прекрасно знал князь, хотя понятия не имел ни кто такой Аркадий, ни где он работает, ни что именно он является мужем Верочки Семисветовой. Уже почти добравшись до цели, стоя непосредственно перед дверью заветной квартиры, князь вдруг передумал заходить в гости. "Не стоит, - решил он, - я ведь и так все

знаю. Все лучшие русские женщины всегда влюблялись в антихриста. Об этом еще Тургенев писал. Отсюда и наши национальные беды. Американки торчат на ковбоях и продаются миллионерам, а наши торчат на антихристе и практически не продаются. Мучаются с ним, на каторгу за ним следуют, водку ему покупают, под паровоз ради него бросаются. Пропала Россия. Правда, уже очень давно".

Князь вернулся домой. Его бабушка, старая княгиня, принимала у себя не менее старых большевиков Лазаря Евсеича и Павлазара Моисеича. Оба старца выглядели типичными меньшевиками из советских фильмов на революционную тематику. Именно такие герои экрана, похожие одновременно и на придурковатых профессоров и на алчных ростовщиков, пытались накануне исторических решений протаскивать всякие зловередные резолюции, вступать в сепаратные переговоры и соблазнять рабочих прелестями оппортунизма.

При появлении молодого человека старшие, несколько смутившись, прервали какой-то свой разговор, но продолжили чинную игру в карты. Павлазар Моисеич сидел на прикупе и, мучаясь ревностью, тоскливо и безошибочно предугадывал тот неоспоримый факт, что Лазарю сейчас непременно повезет. Тщетной надежде на иной исход оставалось жить еще какие-то секунды, за которые хронический неудачник вполне успевал бесполезно задуматься над тем, почему, в самом деле, ему всегда приходится проявлять просто чудеса изоощренной изобретательности и недюжинного умения лишь для того, чтобы показать результат хотя бы ненамного худший, нежели его счастливый соперник. С позиций диалектического материализма это не поддавалось объяснению, а всякие другие подходы мгновенно порождали в душе Павлазара Моисеича инстинктивное неприятие. Любая мистика более смешипа, чем раздражала его, хотя и на этот раз ему было отнюдь не до смеха. Лазарь, разумеется, традиционно выиграл, вовсе не считая свою победу случайным плодом стечения обстоятельств, что было, конечно, особенно противно.

- Хотел бы я посмотреть, что бы ты делал с моей картой, - стараясь не глядеть на княгиню, сурово попрекнул соперника абсолютно иллюзорным грехом Павлазар Моисеич.

- Но мы же менялись не глядя, причем всякий раз, когда ты этого требовал, - смиренно оправдываясь, напомнил тот.

Увы, это была сущая правда. Кроме того, внуки и правнуки Лазаря уже два года, как жили в Америке. И окончит свой долгий земной путь Лазарь не здесь Христа ради в обкомовской больнице, а где-нибудь на вилле в Лос-Анжелесе, окруженный любящими домочадцами. И, несмотря на все это, его продолжают приглашать на всякие официальные советские торжества в качестве единственного в городе заслуженного человека, видевшего живого Ленина, тогда как аналогичная известность Павлазара Моисеича, наоборот, состоит в том, что он видел живого Троцкого. Как это так выходит? Всю жизнь вместе: в один год на одной улице родились, в одном революционном подполье с одним царем разбирались, в одном полку в одних чинах служили, в одном лагере по одному делу сидели, в одном ларьке для избранных одним дефицитом сейчас отовариваются, а общие итоги судеб диаметрально противоположны. Разве что княгиня была несомненно более расположена к злосчастному Павлазару Моисеичу. Это компенсировало в его глазах чуть ли не всё остальное. Но, опять-таки, как объяснишь ей, что Лазарь в карточной игре вообще без понятия? Ситуация представлялась просто безысходной. Оценить по достоинству титанические вычислительные усилия и красоту немислимых комбинаций неоднократно реализованных Павлазаром Моисеичем при абсолютно безнадежном раскладе могли только истинные картежники-профессионалы, каковым княгиня, к сожалению, не являлась. При ее простодушии она рано или поздно могла заподозрить, что Лазарь просто лучше играет. Нужно во что бы то ни стало предостеречь ее от подобного заблуждения. Но что могут слова? Они лишь называют и повествуют, однако бессильны что-либо объяснить. А Павлазар Моисеич все и всегда старался именно объяснить.

Настроение Павлазара Моисеича, однако, постепенно исправилось, и с величайшим наслаждением душа его перенеслась в завтрашнее утро, когда он придет сюда один и преподнесет княгине, полученный по именному талону том избранных стихотворений русских поэтов серебрянного века, в который включены обширные подборки Северянина и Гумилева. "Что вы, мой друг, я вовсе не стою ваших забот", - скажет княгиня, и раскрыв книгу, вслух прочитает:

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны,
И мне нравится не гитара.
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам -
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам...

И после этих достойных женского ума милых и несколько глуповатых слов Павлазар Моисеич сделает ей, наконец, предложение. Вот уже более двадцати лет львиной долей своих государственных льгот и привилегий - от внеочередной побелки потолка до дефицитных лекарств - он делится с княгиней. Пришла пора позаботиться о том, чтобы они остались за ней и тогда, когда ему они будут окончательно ни к чему.

Кургану повезло: полторы сотни лет назад, случайно или намеренно, но рядом с ним поставили церковь, которую обнесли невысокой каменной стеной. Таким образом, курган оказался внутри церковного двора и счастливо избежал раскопок. Все просьбы, уговоры, требования и даже угрозы ученых, коим почти всегда благоволили местные власти, как до революции, так и после нее, неизбежно натывались на непреклонный отказ священников дать согласие на проведение археологических изысканий. Даже во времена либеральных и, как тогда считалось, последних и окончательных ввиду уже стоящего на пороге коммунизма, хрущевских гонений на отсталое религиозное мировоззрение, курган всеми правдами и неправдами удалось отстоять. Казалось, весьма удивленные этим обстоятельством всемогущие власти мстительно ограничились лишь тем, что прямо в центре церковной площади воздвигли суровый военно-патриотический памятник героическим партизанам, дула ружей и автоматов которых вполне недвусмысленно глядели прямо на купол храма. Тем дело и обошлось. Тогда. А ныне отец Дмитрий сидел в покоях священника и при свете настольной лампы сочинял очередное обоснование нецелесообразности проведения раскопок на территории, относящейся к церкви. На этот раз давили очень серьезно. К делу подключили саму Академию Наук, которую, видимо, сумели довести до полной истерики. Во всяком случае, из посланий, скрепленных печатью с ее благородным именем, со всей очевидностью следовало, что курган будто только для того и насыпали во время оно непросвещенные предки, чтобы именно сегодня его распот-

рошили ученые потомки. Отца Дмитрия при этом играючи изобличали в мракобесии и неуважении к советским законам, заодно прозрачно намекая на его не совсем православное происхождение. Становилось совершенно очевидно, что без помощи Андрея Павловича курган и его обитателей вряд ли удастся избавить от вскрытия.

Отец Дмитрий весь пребывал во власти сих проблем, когда в дверь постучали, и церковный староста каким-то не своим голосом произнес:

- Батюшка, к вам еврей.

- Ну и что же, что еврей? Евреев тут, что ли, не было? - стараясь сохранить видимость самообладания, спросил отец Дмитрий, хотя сразу понял, что пробил час исполнения того маловразумительного пророчества, которое сообщила ему Святая Дева, если это, конечно, была Она. Случай был во всех отношениях темный, и даже с помощью Андрея Павловича так и не удалось прийти к сколь-нибудь удовлетворительной его интерпретации. Выходило, что Дева поручала отцу Дмитрию то ли окрестить какого-то еврея, то ли - страшно даже выговорить, но интеллектуальная честность того требует - этого еврея зарезать.

Между тем в комнату чуть ли не вкатился маленький кругленький человек чрезвычайно неопределенного возраста. Просто невозможно было угадать, очень ли хорошо он сохранился для своих шестидесяти, или, напротив, слишком уж потаскан для своих тридцати.

- Меня зовут Марлен Владленович, - сразу же представился он, - в честь моего отца, как вы поняли. А фамилия моя - Крайнеплотский, в честь, очевидно, всех моих предков, как я понимаю.

- Очень приятно, - обреченно потеряв свою испанскую бородку, откликнулся отец Дмитрий. - Креститься надумали?

- Да вы с ума сошли!

- Слава тебе, Господи! - не сдержал вздоха облегчения отец Дмитрий и осенил себя крестным знамением. - Вст уж порадовали, голубчик, так порадовали. Простите великодушно. Так с чем вы пожаловали?

- Во-первых, я пришел к вам как к еврею, хотя и не совсем еврею, а во-вторых, - Марлен Владленович оглянулся по сторонам и, понизив голос, деликатно закончил: - Ну, батюшка, все же знают, что вы - стукач.

- Понятно, - откинулся на спинку стула отец Дмитрий. - Значит вам понадобились мои связи?

- А вот и не угадали! Пусть эти ваши связи остаются при вас. А я - писатель. Большой писатель и не менее большой ученый, смею вас заверить. И чтобы наша беседа не была голословной, я хочу, для начала, познакомить вас с почти полным собранием моих сочинений.

С этими словами Марлен Владленович извлек из бокового кармана пиджака аккуратно сложенный вчетверо лист бумаги стандартного формата.

- Вы хотите, чтобы я это прочитал? - участливо осведомился священник.

- Нет. Читать буду я. Начнем с ученого труда. Это серьезный социально-психологический трактат о сущности мыслящей души. Поэтому прошу вас полностью сосредоточиться. Итак: "Книга о вкусной и здоровой смерти"...

Повисла пауза, прерывать которую Марлен Владленович, похоже, вовсе не собирался. Полностью расслабившись, он сидел на стуле с видом человека, заслуженно наслаждающегося эффектом произведенного им неотразимого впечатления.

- Ну, - наконец не выдержал все более явно недоумевающий отец Дмитрий.

- Это все.

- То есть?

- Все! Неужели вы не поняли? Признаться, от еврея, ставшего православным священником, я ожидал большей сообразительности. Объясняю: это и есть мой творческий метод. Ведь смысл любой работы заключен уже в самом ее названии. Если вы полностью продумали и выстрадали вещь, то вам остается ее только назвать. Собственно, больше писать ничего не надо, потому что название - это суть, а суть подобна семени, которое прорастает в душе. Я вижу, вы опять мало что поняли. Тогда прошу внимания: "Анти-Эдип" - лингвистическо-историческое исследование о "комплексе Электры" у принца Гамлета. Собственно, я сказал уже больше, чем надо.

- Вы что, издеваетесь? И почему "Анти-Эдип"? Неужели вы всерьез утверждаете, что, явно тяготея к отцу и фактически доведя дело до убийства матери и ее любовника, принц датский в сущности уподобился принцессе, да и с Офелией вел себя так, словно у него и впрямь не было пениса?

- Вот видите. Зачем же мне еще что-то нужно дописывать по данному вопросу? Впрочем, с наукой все относительно ясно. Не я бы совершил открытие, так кто-то

другой, причем совсем на меня не похожий. Куда интереснее обстоит дело с художественным творчеством. Тут, чтобы написать мое, нужно стать мной, иначе у него ничего не получится.

- У кого?

- У того, кто решит писать мое, неужели не понятно? Ну как, я вас спрашиваю, не будучи мной, можно написать повесть "Младший генерал или сверхполковник"?

Отец Дмитрий начал медленно выпрямляться на стуле.

- Убедились? А казалось бы, сущая чепуха по сравнению с наукой.

Марлен Владленович вновь взял небольшую передышку, которую отец Дмитрий никак не решался использовать. Несколько раз он порывался возобновить разговор, но малодушно в последний момент передумывал. Марлен Владленович явно безраздельно владел инициативой.

- И как это вас угораздило в священники податься? Никогда бы к вам не пришел, если бы, по всей видимости, не пробил и мой час.

- Так вы все-таки креститься?

- Боже упаси! У вас навязчивая идея, а у меня проблемы скорее ветхозаветной ориентации. Дело в том, что около трех лет я напряженно работал над главной своей книгой, которую сейчас вам читаю. Вы уверены, что готовы? Тогда слушайте внимательно, - и Марлен Владленович торжественно произнес следующие слова: "О сущности всех явлений".

- Боже мой! - простонал священник.

- Я знал, что это вас впечатлит. Это не может не впечатлить. И кажется, ко мне, наконец, пришел настоящий успех. Я получил официальное приглашение на симпозиум, посвященный тематике моей книги.

- О, Господи! - вновь простонал отец Дмитрий.

- Правильно! - полностью согласился с подобным выражением чувств Марлен Владленович. - Что-то во всей этой истории мне не нравится. Собственно, я догадываюсь, что именно. Боюсь, мне уготована роль Исаака. Помните про такого? А служивый человек, он ведь всегда мнит себя Авраамом. Скажут зарезать - зарежет, пока в советской власти не сомневается. И не может ли как-нибудь выйти так, что за всеми участниками симпозиума захлопнутся двери товарного вагона, как это уже не раз бывало в нашей и не только в нашей стране, и... - Марлен

Владленович не смог сразу договорить, лицо его исказила гримаса скорби, и слезы, созрев и набрав силу, потекли из глаз.

- Не могу, - кое-как совладав с собой, продолжил он. - Как только представлю себе двери товарного вагона, захлопывающиеся за живыми людьми, так не могу... Это невращения уже на генетическом уровне. С вами не бывает? Никакие средства не помогают. Я все перепробовал. Так с этим, видимо, и помрем. Но, Дмитрий Яковлевич, как еврей еврею, как православный поп простому советскому человеку, пока мы оба еще на относительной свободе... скажите, голубчик, стоит мне идти на этот проклятый симпозиум или не стоит?

- Стоит, раз спрашиваете, - автоматически проявил некоторые познания в области по-своему загадочной нерусской души отец Дмитрий

- Вы полагаете, есть надежда? - решив именно таким образом интерпретировать его слова, переспросил Марлен Владленович, вздохнул и возвел очи к потолку, как будто и впрямь намеревался разглядеть сквозь него какую-нибудь подсказку.

Старший лейтенант КГБ Андрей Павлович Петров заболел гриппом. На время болезни вход в его служебный кабинет был опечатан сургучной печатью. В это же время город будоражили слухи о якобы активно ведущейся в нем тайной подготовке либо воровского схода, либо, что уж было совсем из ряда вон, учредительного съезда альтернативной партии. В НИИ, где работал Аркадий, витали всякие разговоры:

- Говорят, будет сама Авива Ликуч из "Голоса Америки".

- Да вы что? Неужели легально?

- Не знаю, не знаю. Однако ждут Сахарова, Высоцкого и кардинала Войтылу.

- Это ловушка. Вот увидите, всех схватят и обменяют на Корвалана.

- А как же разрядка?

- Вы что, не понимаете? На то и разрядка.

И в поликлинике, где работала Верочка, витали те же разговоры, ибо и поликлиника с некоторых, но уже довольно давних пор все меньше лечила и все больше уходила в духовное подполье. То же происходило на заводах и фабри-

ках, в учебных заведениях и на предприятиях торговли, в совхозах и колхозах, садах и огородах, в воинских частях и комбинатах бытового обслуживания самой духовной на свете страны.

У входа в подземный ход, недавно сданный в эксплуатацию князем, участников симпозиума встречал отец Дмитрий. Он был в полном священническом облачении и размахивал кадиллом, одновременно ухитряясь проверять мандаты. Когда все двадцать восемь приглашенных прибыли, священник сделал перекличку по списку и пригласил всех следовать за собой. Увереннее прочих чувствовали себя два старых большевика - Лазарь Евсеич и Павлазар Моисеич; они единственные из участников симпозиума догадались писать свою книгу "О сущности всех явлений" в соавторстве, хотя мало в чем были согласны друг с другом. Зато теперь у каждого из них в лице другого был здесь по крайней мере один знакомый.

Проделав путь, однажды уже пройденный князем в обоих направлениях, авторы известной нам книги оказались в достаточно своеобразно декорированной по этому случаю комнате, ныне превращенной в конференц-зал камерного типа. Прежде всего бросалась в глаза выполненная цветными мелками на потолке фреска, изображавшая Адама и Еву выходящими из мавзолея Ленина, на трибуне которого разместились сонм ангелов по чинам их. На стенах красовались наставляющие, ободряющие и предостерегающие лозунги типа: "Плох тот народ, который не мечтает стать избранным", "Человеку свойственно ошибаться, а коллективу - не очень", "Пытать вас не будут, но поработать придется". Слева от двери над выключателем висела небольшая гравюра, являвшая образ конного милиционера в седле, задумчиво играющего на скрипке; из глаз его доброго коня сползали крупные реалистические слезы. И конечно же, дело не обошлось без обязательного плаката с цитатой по случаю. На сей раз его содержание было таково: *"Должно надеяться, что сам Бог ниспошлет небесного учителя и наставника людям. Платон (друг Аристотеля, менее дорогой, чем истина)"*. Обстановка нас-траивала на серьезный мозговой штурм. За столом президиума сидел человек в форме старшего лейтенанта медицинской службы.

- Переодетый кагебист! - с нескрываемым упреком посмотрев в сторону отца Дмитрия, сразу же расколол будущего председателя собрания Марлен Владленович. - И зовут его Авраам.

- Просто у меня сейчас грипп, а зовут меня Андрей Павлович, - откликнулся на эту реплику председатель и всех это почему-то немного успокоило. - Прошу садиться. Отец Дмитрий, ведите протокол. Озаглавим документ так... «Протокол...»

- Сионских мудрецов! - попробовал схохмить с места ответственный секретарь местного отделения Союза художников и лауреат Василий Степанович Вий-Близдиканьский.

- Отключите ему микрофон! - коротко распорядился председатель.

В мгновение ока от стены отделился скромный молодой человек с отличными манерами и, вероятно, прекрасно образованный. Никто охнуть не успел, как он заткнул кляпом рот и без того онемевшего лауреата и снова растворился в стене.

- Попрошу не выражаться в подполье! - строго предупредил председатель, - потому что именно здесь закладываются лучшие традиции человечества. Авраам и Персей, Моисей и Ромул вместе с Ремом, Христос, Магомет, Будда, Вашингтон, Карл Маркс, Ленин и Сталин, Махатма Ганди, Голда Меир и Ясир Арафат - все они в свое время были подпольщиками или переходили на нелегальное положение, несмотря на то, что всякая власть от Бога, как говорил апостол Павел, сам лучшие свои дни проведший в подполье. Поэтому протокола не будет. Отец Дмитрий, сожгите то, что вы уже успели записать.

- Вечно у них одна рука не знает, что делает другая! - удовлетворенно заметил Павлазар Моисеич. - Но тактику ведения протоколов наша фракция одобряет! Лазарь, ты меня понял?

- Вот вы и возглавите одну из наших двух рабочих групп. А другую группу возглавит, - председатель обвел взглядом собравшихся. - Да-да, вот вы, товарищ.

Старший лейтенант Андрей Павлович Петров получил именно то, на что рассчитывал: два взаимоисключающих неподдельных гласа народа в форме подробнейших меморандумов, излагающих суть русской национальной идеи в перспективе на ближайшие двадцать лет. Один был озаглавлен "Третий Рим и абсолютный дух", другой - "Новый Иерусалим и крайняя плоть". Старший лейтенант долго пытался разобраться, что же ему лично более по душе, но

так и не смог. В любом случае выбирать будет начальство, которому и следовало передать наверх оба документа.

Пришло время спросить себя: "А зачем тебе это было нужно?" и ответить: "Глупый вопрос. А зачем князь пятнадцать лет рыл подземный ход? Уж, наверняка не для того, чтобы я им воспользовался. А с другой стороны получается, что именно для того и рыл". Медитируя таким образом, старший лейтенант готовился к неизбежному. Он знал, что уже не сможет убедить себя не сунуть голову в пасть неизвестности, и только пытался не прогадать с моментом - ведь бывает, когда все за тебя, а бывает, когда все абсолютно тоже самое почему-то против. Именно на этом непостижимом феномене природы и держится астрологический бизнес...

И пошли месяцы томительных и мучительных ожиданий, когда по мельчайшим признакам - выражению глаз собеседников, крепости рукопожатий, частоте вызовов на ковер - он пытался вычислить, хороши его дела в верхах или плохи. Период вынужденного ожидания своей участи - лучшее время для сомнений, которые изводили старшего лейтенанта, как никогда. «Возможно, я прокололся в самой идее, чисто поповской по сути и происхождению. Это все тлетворное влияние чертова батюшки. Теперь поди докажи, что я его, а не он меня вербанул», - так думал и по-своему молился Андрей Павлович, пока не доставили его однажды сверхсекретным рейсом на неведомом американской разведке летательном аппарате в саму Москву. Похоже, его услышали.

Посреди огромного дворцового зала стояло кресло, в котором восседал Генеральный секретарь. Руки и ноги его были связаны, глаза закрыты. Метрах в двадцати прямо перед ним навтыжку стоял Андрей Павлович, офицер из провинции. Так прошло еще минут сорок, которых Андрей Павлович не заметил, потому что его представление о времени изменилось соответствующим образом. И вдруг раздался до неправдоподобия знакомый голос властителя полумира, высшего руководителя партии и правительства:

- Развяжите мне руки. Развяжите мне ноги. Поднимите мне веки. Наденьте мне очки. Дайте текст, наконец.

Откуда ни возьмись появилось великое множество референтов, адъютантов, курьеров, подавальщиц, медсестер, лиц

без определенно выраженного функционального назначения. Все они гроздьями и в индивидуальном порядке сыпались с потолка, вылезали из стен, вырастали из-под пола, что нимало не удивляло старшего лейтенанта. Тут же начались дворцовые интриги: кто-то кого-то подсаживал, кто-то что-то проталкивал, одни многозначительно переглядывались за спинами других, другие удовлетворенно потирали ладони, третьи только тем и занимались, что хорошо скрывали свои эмоции. В целом, хотя все решали, казалось бы, исключительно свои проблемы, распоряжение генсека оказалось в точности исполненным, словно кто-то неведомый и впрямь ни на мгновение не упускал из виду некоей генеральной линии, о существовании которой, может быть, и сам генсек не более, чем смутно догадывался.

- Здравствуйте дорогой, Андрей Павлович, - не отрывая глаз от бумаги, принялся неторопливо читать генсек, когда все стихло вокруг. - Поздравляю вас с выполнением важного правительственного задания и награждаю исполнением трех ваших желаний. Кхе-кхе.

Генсек отложил текст в сторону, снял очки и уже с некоторым интересом посмотрел на будущего собеседника:

- Стараешься, значит, братец? Одобряю. Только не верь ты попам, потому что чем человек выше поставлен, тем ему видней, вплоть до ясновиденья. Ну-ка, подойди ближе. Посмотри мне в глаза. Всё. Первое твое желание, считай, исполнено. Хочешь отмены шестой статьи Конституции? Так её ещё не приняли. Вывести войска из Афганистана? Так их туда пока не ввели. Но ты не дергайся, наберись терпения, и всё будет, как скажешь. И Сахарова из ссылки освободят, и Солженицына напечатают, и даже с Израилем дипломатические отношения восстановят. Шучу, конечно. Переходим ко второму желанию. Хочешь ты, чтобы курган около церкви, где дружок твой, отец Дмитрий, служит, не трогали. Будет исполнено. А что до третьего твоего, и стало быть самого сокровенного желания, так оно и без меня давно исполнено, причем в глобальном историческом масштабе. Кто теперь Авраам? А с Исааками и того хуже. Помнишь, как сидя на горшке в детском саду, ты спрашивал у Димы: "Какая разница, что обо мне подумают через сто лет, если один раз живем?" И еще ты говорил: «Даже объективно смысл жизни курицы заключается не только в том, чтобы я ее съел. А что мы знаем о субъективном?» Когда вы, наконец, подрастете? Сверх того, присваиваю тебе внеочередное звание старшего генерала, я

ведь не Ирод какой. Да и правду сказать, мученикам в такой общественно-политической обстановке особо ловить нечего, так Верочке Семисветовой и передай. Жаль только, мгновения остановить невозможно. Даже десятилетия, и то не получается... Свяжите мне руки. Свяжите мне ноги. Не забудьте опустить веки. Застегните пристегные ремни. Берегите Картера. Поехали!

До сих пор звучит в ушах старшего генерала КГБ Андрея Павловича Петрова этот незабываемый голос.

Декабрьским вечером 1976 года, спустя ровно сто тридцать лет и два месяца со времени окончательного разрыва Карла Маркса и Фридриха Энгельса с Прудоном, князь и старая княгиня пили чай с вишневым вареньем и смотрели телевизор, на экране которого свежеиспеченный Маршал Советского Союза, он же Генеральный секретарь ЦК КПСС, он же Брежнев Леонид Ильич и прочая, и прочая, обладатель всех мыслимых и немыслимых наград, включая даже Орден Большого Сайомба Монгольской республики, получал, тем не менее, еще одну - за выдающиеся заслуги и в связи с семидесятилетием со дня рождения. Очередная награда представляла собой условно боевое режущее-рубящее оружие в виде красавицы-шашки, отдаленно символизирующей бывшую классовую борьбу.

- И все-таки не выйдет из него старого большевика, - вынесла княгиня свой окончательный приговор, и тут же раздался дверной звонок.

Гостей будто не ждали. Князь открыл дверь и увидел на пороге записку. Пожав плечами, он принял послание и, вернувшись в комнату, прочитал: "Прошу срочно зайти". Подпись Верочки нельзя было не узнать. Бабушка внимательно посмотрела на внука и обо всем догадавшись, вынесла свой второй за сегодняшний вечер приговор:

- Мне она всегда нравилась

Следующего приговора князь дожидаться не стал.

У Верочки тоже ужинали. За обеденным столом перед стаканом чая и халвой на блюдечке сидел подросток лет четырнадцати. Он ел и запивал с какой-то неестественной, как показалось гостю, сосредоточенностью.

- Сын? - тихо спросил князь.

- Муж, - внятно ответила Верочка. - Теперь он ни на что не реагирует. Видимо, скоротечный отизм, хотя я ни о чем подобном не слышала.

- Какой муж? Какой отизм? - оторопел князь.

- Мой муж. Скоротечный отизм. - пояснила Верочка. - Больной уже в течение недели каждый день становится словно бы на год младше.

- Да ты что? Врача вызывали?

- Я сама врач, если ты не забыл. И жена.

Они помолчали.

- Князь, - вновь заговорила Верочка, - я тебя очень прошу побыть эти дни со мной. И ночи тоже.

- Конечно, конечно, - заторпился с ответом князь. - Я только бабушке позвоню.

Через четыре дня Аркадию было уже десять лет. Он по-прежнему никак не реагировал на присутствие людей, но ел, пил и справлял прочие естественные надобности регулярно, не обнаруживая видимых функциональных нарушений. Князь и Верочка держались стоически, ухаживая за подростком и аккуратно обходя тему его ближайшего будущего.

- Но чем-то это должно кончиться, - когда Аркадию стукнуло пять, не выдержал и высказался, наконец, вслух по данным обстоятельствам князь. - Мне кажется твой супруг вовсе не намерен шутить.

- Какие могут быть шутки? Аркадий просто уходит от нас.

- Он не говорил, куда?

Верочка внимательно посмотрела на князя.

- Прости, - тотчас смутился он. - Но мне действительно интересно. Это, конечно, нервы. Я, пожалуй, сбегаю за пеленками, а то потом недосуг будет.

Еще через пару дней Верочка и впрямь была с младенцем на руках. Князь помогал как мог и, стараясь не думать о неотвратимом, все-таки начал чувствовать признаки надвигающейся сильнейшей мигрени в сопровождении все учащающихся позывов на рвоту. Когда же младенец неожиданно произнес отчетливую латинскую фразу (кажется он не совсем точно, но весьма к месту цитировал стих Овидия), привыкший за последние дни к некоторым неожиданностям князь решил, что дело, может быть, пошло на поправку.

- Что же ты стоишь? - отвлекла его от благих надежд Верочка. - Пора идти за священником.

Через час он возвратился с отцом Дмитрием, не будучи уверен, что тот хоть что-нибудь понял из его сбивчивых объяснений.

- И вот что еще, батюшка, - очнулся и счел своим долгом напоследок предостеречь князь. - Как бы глупостей не наделать. Насколько я понимаю, младенец, судя по всему - типичный еврей.

- Крестили мы и евреев, - спокойно отвечал батюшка и неожиданно для себя самого уверенно, на манер заправского хирурга, распорядился: - Тампон. Скальпель.

- Чего изволите? - не веря ушам, переспросил князь.

- Инструмент в тумбочке, - словно давно была готова к чему-то подобному, подсказала Верочка.

Исполнив свой религиозный и в данном случае вполне интернациональный долг, обессилевшие от напряжения батюшка и преданно ассистировавший ему князь принялись отстраненно наблюдать, как младенец все быстрее уменьшается в размерах. Вот он уже вообще перестал быть похож на дитя человеческое, помещаясь весь целиком на ладони жены. А вот на ладони был уже едва заметный, практически бесформенный сгусток чего-то. Потом ладонь оказалась пуста.

- Так! - прежде чем позволить себе лишиться чувств, успел произнести князь. - Материя не исчезает из ничего и не возникает бесследно.

И обведя пространство перед собой еще достаточно осмысленным взором, он с хитрым прищуром спросил у кого-то: "Но что же это доказывает?" - после чего с чувством до конца исполненного долга, как подрубленный, повалился на пол.

У батюшки, видимо, тоже возникли какие-то вопросы. Сомнамбулически пятясь, он сумел добраться до стены, и, убедившись, что отступать дальше некуда, осел, частично испустив дух, будто меха отыгравшей гармонии. Сознание покинуло его. И только Верочка, при всех своих чувствах и в полном сознании, продолжала стоять, как стояла, глядя отрешенно на опустевшую ладонь.

ЭПИЛОГ

Следствие об исчезновении Аркадия милиции фальсифицировать не удалось, но винить ее в этом не стоит. Она сделала все от нее зависящее, неопровержимо доказав, что Верочка с двумя приятелями расчленили труп.

Такие вещественные доказательства, как тампон, скальпель и самое красноречивое - натуральная крайняя плоть потерпевшего - не оставляли подозреваемым никаких шансов избежать правосудия. Но, видимо, один из преступников оказался с такими связями, которые стоили любых смягчающих обстоятельств. Дело неожиданно передали в КГБ, и всю компанию вскоре освободили из под стражи. Честные милицейские следователи, уже почти добившиеся чистосердечных признаний, только разводили от досады руками, но сильно не удивлялись, находя утешение в том, что есть еще навалом подследственных, которые не успели обзавестись могущественными заступниками. Зато старший генерал КГБ Андрей Павлович Петров увлекся абсолютно несолидным с точки зрения коллег расследованием какой-то уголовщины. Впрочем, при его звании можно было себе позволить некоторые чудачества, вплоть до удовольствия изредка поработать из любви к искусству. Получив научные отчеты, в которых случившееся с Аркадием одними экспертами объявлялось вполне вероятным, другими почти невероятным, но ста процентов ни «за», ни «против» в обоих случаях не давалось, Андрей Павлович с чистой совестью задействовал религиозных консультантов. Те сработали на удивление четко и быстро. Уже через день на столе старшего генерала лежали сделанные независимо друг от друга заключения православных и иудейских богословов, в которых на все сто процентов утверждалось, что ни о каком пришествии, а тем более ушествии Мессии в данном случае речи идти не может, а мы наверняка имеем дело с индивидуальной истерией и коллективным гипнозом. "Это, по крайней мере, убедительно и надежно, - остался очень доволен указанной точкой зрения Андрей Павлович. - Как же это я сам не догадался? Гипноз. Истерия". Завернув вещественные доказательства в бумагу, он покинул свой кабинет, воспользовавшись подземным ходом, где совершенно неожиданно для себя повстречал Генриетту Соломонову с младенцем Аркадием на руках. Оба, перебивая друг друга, что-то взахлеб пытались втолковать генералу на разговорном иврите, но он, словно не замечая их усилий, упорно шел к цели, и они в конце концов отстали. В город он выбрался без странных попутчиков и, оглядевшись, присел несколько перевести дух на скамейку перед изваянием кормящей львицы. В последний раз старший генерал позволил себе такую роскошь, кажется, лет десять назад. Тогда тоже вечерело, но и городской сад, и главная улица

были заполнены гуляющими людьми. Андрей Павлович качнул головой, отгоняя прошлое, встал и быстро пошел по направлению к морю. Выйдя на самый дальний причал Морского вокзала и легко убедившись, что хвоста за ним нет, он бросил вещественные доказательства в темную воду. "Гипноз как-нибудь обойдется и без реликвий, по крайней мере подлинных", - мысленно пообещал он неизвестно кому, но не в последнюю очередь Марлену Владленовичу, который по его сведениям уже успел написать документальную повесть "Вернись, Аркадий!"

Через некоторое время Генриетте Соломоновне вручили документ о том, что сын ее пропал без вести. Как ни странно, это несколько успокоило совершенно безутешную доселе мать, словно официальная бумага и впрямь, вопреки своему содержанию, делала некое, пускай и никому неизвестное, существование Аркадия совершенно реальным. Аналогичная справка о пропавшем муже пришла по почте и к Верочке Семисветовой.

А документальная повесть Марлена Владленовича получила самое широкое распространение в самиздате и даже была опубликована за границей. За ее чтение и распространение начали давать сроки. Такого успеха сам автор явно не ожидал. "Это далеко не лучшее из того, что я написал", - непонятно на что обижаясь, твердит он и поныне. Но верят не ему, а его повести. Иначе, как объяснить тот несомненный факт, что секта "Вернись, Аркадий" сделалась главной головной болью среднего маршала ФСБ Андрея Павловича Петрова. Он уже давно работает в Москве, но и adeptов секты тут теперь хоть отбавляй. То же можно сказать и о Нью-Йорке, куда перебрались Верочка и князь, и о Мюнхене, где живет вышедший за штат отец Дмитрий. Недавно он получил письмо из Иерусалима от Марлена Владленовича, в котором тот сообщает, что побывал в качестве туриста в их родном городе, что многое изменилось, что в покоях священника, где они когда-то беседовали, сделали евроремонт, а курган раскопали:

"Нам предков дороги могилы,

Ну, пару тысяч лет от силы,

Потом в душе сгорают пробки,

И начинаются раскопки", - грустно цитирует

он одного из современных кандидатов в классики, заканчивая свое послание сентенцией о поре мемуаров, наступившей для их поколения. "В сущности я их уже написал: «Изгнание из могил, или ностальгия покойников» -

так называется моя новая книга, в которой очень много и о нас с вами. В общем, будете в Иерусалиме, непременно заходите, а уж я в Мюнхен не езду, сами знаете. Всегда ваш Марлен сын Владлена".

P.S. Прошло две тысячи лет. А может и не прошло, хотя, случись такое, кто бы в это поверил? Поэтому, оставаясь реалистами, будем настаивать - прошло две тысячи лет, за которые, как всегда, мало что по существу изменилось: люди остались людьми, звери зверьми, рыбы не стали птицами, и насекомые в массе никуда не делись, по-прежнему, несмотря на все ухищрения разума, самым наглым образом досаждая подчас человеческой плоти, но временами и веселя сердце своей кропотливой незатихающей суетой. А вот из всех героев нашей истории в памяти людской сохранились лишь образы младенца Аркаши и генерального секретаря. Да и то сказать, сохранились ли, если рассказывают о них всякие небылицы, приписывая одному авторство сотен пословиц и поговорок едва ли не на всех известных науке мертвых языках, а другому загадочную заповедь: "Берегите Картера". О каком именно Картере идет речь и почему его так необходимо беречь? Об этом спорят, иногда чуть ли не до звездных войн доходя. Однако в целом коллективная память о чудесном младенце и добром генеральном секретаре безусловно способствует смягчению нравов, стимулируя поиск истины и нравственного идеала. Да и кому охота быть сволочью?

ПУГОВИЦА

1.

...Участь отцов не миновала и доктора Голана. Его дочь, когда родилась, была очень маленькой, но она росла и выросла у него на глазах, а он этого не замечал, не видел, не чувствовал, не знал до того дня, когда вместе с ней поехал в Нетанию, чтобы провести свой отпуск на берегу моря.

Доктор Голан сидел в шезлонге, лицо его было в тени, тело отдано на милость солнечных лучей, а дочь его в это время купалась в море. Закрыв глаза, доктор расслабился и медленно погружался в сладостную дремоту, когда вдруг услышал крик:

– Папа! Папа!

Это был голос его дочери. Мгновенно вскочив, он бросился к морю и увидел: она до головы погружена в воду, и люди со всех концов спешат ей на помощь. Но его дочь отрицательно качает головой, отталкивает спасателей и кричит:

– Папа! Папа!

Сильная волна ударила доктора Голана и отбросила далеко назад. Он не сдавался, еще энергичнее продолжал борьбу с волнами – и одолел их. Приблизившись к дочери, он испуганно спросил:

– Что с тобой, Эдна?

– Папа, – прошептала она ему на ухо, – оторвалась пуговица... Папа... оторвалась пуговица купальника. Та пуговица, на которой он держится на теле. Папа! Помоги мне! Быстрее!

И в эту минуту доктор осознал, что его дочь – взрослая девушка. Но время было неподходящим для длительных размышлений и углубленного психологического анализа только что сделанного им открытия относительно дочери. Как стрела из лука помчался доктор Голан к спасателю и раздобыл у него иголку с ниткой. Затем он поспешил в павильон с одеждой и протянул в сторону гардеробщика жестяной номерок. Хранитель одежды был изрядно замотан и даже вспотел от напряжения – со всех сторон к нему тянулись руки с номерками.

Прокладывая себе путь к гардеробщику, доктор Голан пускал в ход не только мускулы рук и ног, но также спины и груди. Когда он, наконец, достиг цели, ему удалось сразу же убедить хранителя одежды, что дело его срочное и не терпит отлагательства. И вот он видит, что его брюки в руках гардеробщика. Доктор Голан схватил их, оторвал пуговицу и вернул ему брюки.

Бегом он направляется к дочери и после непродолжительной, но упорной борьбы с волнами, а затем – с иголкой, ниткой и купальником, все завершается наилучшим образом. Доктор Голан и его дочь, держась за руки, шагают по морскому берегу, сияя от счастья. Дочь сияет от того, что избежала ужасного появления перед публикой обнаженной, а ее отец сияет от сделанного им важного открытия – его дочь уже не ребенок, а взрослая девушка, можно сказать, на выданье.

2.

В ту же ночь, укладываясь спать и снимая с себя одежду, доктор Голан с удивлением обнаружил, что на его брюках в целости и сохранности все пуговицы. Он тщательно искал, осматривал, проверял, изучал, анализировал, обследовал все те места на брюках, где полагается быть пуговицам – и все они оказались в наличии. Тогда в своем воображении он воссоздал ту сцену, когда запаренный и взмыленный гардеробщик снял с вешалки брюки, а он схватил их и сорвал пуговицу – ему все стало ясно: это были чужие брюки, которые никогда ему не принадлежали. Гардеробщик в спешке подsunул ему другие, но очень похожие брюки, а он, доктор Голан, сорвал с них пуговицу и пришел к купальнику дочери.

Любой другой на его месте, вероятно, громко бы рассмеялся и при каждом удобном случае рассказывал эту историю как забавное происшествие. Но доктор Голан предпочел хранить случившееся в тайне. Более того, этот курьезный случай стал играть во внутренней жизни доктора важную роль. Ведь известно, что у каждого человека есть жизнь внешняя и жизнь внутренняя, а тем более у такого высокообразованного и рафинированного интеллигента, как доктор Голан.

Двойное бытие человека и постоянное взаимодействие внешней и внутренней жизни можно уподобить двум кривым зеркалам, стоящим друг против друг, а между ними – носитель жизни, человек. В соответствии с законами оптики в этих зеркалах образуется неисчислимое количество отражений, но все они – искаженные в квадрате и в кубе. И тем не менее в этом море фальши мы улавливаем истину. Спрашивается: как предпочтительней изображать человека – в соответствии с его внешней или внутренней жизнью? Мне кажется, что надо идти по пути наименьшего сопротивления и рисовать жизнь внешнюю. Во всяком случае, мы будем придерживаться этого правила, рассказывая о докторе Голане.

Так вот, надо учесть, что во внешней жизни доктора Голана понятие „пуговица“ сыграло особую роль. Не будет преувеличением, если мы скажем, что оно, это понятие, в большой мере определило весь ход его жизненного пути. Небольшое происшествие в детские годы произвело на него неизгладимое впечатление и отложило свой отпечаток на его дальнейшей судьбе. Во избежание недоразумений расскажем об этом сейчас.

Однажды вечером – в ту пору Голан еще не был доктором и еще не был Голаном, а был шестилетним ребенком – он шел по улице, возвращаясь домой. Не впервые в жизни он так поздно находился на улице. Солнце быстро скользило на запад. Будущий доктор Голан ускорил шаг, но когда на улице стемнело, и между ним и его домом оставалось не более ста метров, случилось то, о чем сейчас будет речь. Беспризорный уличный мальчуган, грязный, в старой, рваной одежде вышел из какой-то парадной, поравнялся с будущим доктором Голаном, одной рукой ухватил за пуговицу его пальто, а другую, сжав в кулак, приблизил к носу собеседника, и сказал:

– Давай деньги!

И тут будущий доктор Голан отпрянул с такой силой, которую вселяет панический страх, и бросился бежать, оставив в руке незадачливого грабителя пуговицу своего пальто.

Мы обязались не вдаваться в глубины внутренней жизни доктора Голана и поэтому откажемся от анализа, что больше всего повлияло тогда на него – потеря пуговицы, постыдное бегство, а, может быть, совокупность того и другого. Воздержимся также от описания его переживаний как в повествовательно-эпическом смысле, так и в психоаналитическом разрезе. Ограничимся несколькими краткими замечаниями о деятельности будущего доктора Голана с того памятного дня.

Он с отличием окончил гимназию, а затем – университет, в котором специализировался в трех областях: антропология, мифология и история искусства. Тема его докторской диссертации была сформулирована так: „Особое значение пуговиц в одеяниях древних египтян, обнаруженных в гробнице Тутанхамона“ (XIV век до н.э.). Но широкую известность и мировое признание принесло ему фундаментальное исследование „Фиговый листок, остров Кафтор* и древние мифы народов Средиземно-морского бассейна“.

Незадолго до того исторического дня, который доктор Голан провел на морском пляже Нетании, он завершил еще одно очень важное, оригинальное и интересное исследование – о мифологической, психологической и антропологической связи между корнем „патор“** и словом „кафтор“ в иврите и некоторых других семитских языках.

После всего изложенного выше, не следует удивляться, что, обнаружив все пуговицы на своих брюках, доктор Голан не успокоился, пока не сделал следующих трех умозаключений:

* „Кафтор“ – на иврите „пуговица“, а также в некоторых текстах бутон, капитель, кнопка, выключатель, головка (в технике), набалдашник. (Здесь и далее – примечания переводчика.)

** „Патор“ – на иврите „растолковать, объяснить, разъяснить, отгадать, разрешить (трудную задачу)“.

1. Так как его дочь уже взрослая, значит, он сам уже старик.
2. Так как он уже старик, то вряд ли сможет в дальнейшем внести существенный вклад в изучение и исследование пуговиц.
3. Так как внутреннее неодолимое стремление к кафторологии* в результате судьбоносной потери пуговицы в детстве было до сих пор главной побудительной силой всех его действий, фортуна вернула ему на старости лет эту потерю. Тем самым благополучно завершилась вся эта история, и круг замкнулся.

3.

Итак, доктор Голан был убежден, что история завершилась, и круг замкнулся. В действительности же все произошло как всегда: один круг замкнулся, открылся второй, а завершение одной истории означало начало другой.

Совершеннолетие его дочери очень скоро было подтверждено самой жизнью. Буквально в тот же день, когда круг замкнулся и все прояснилось, Эдна прогуливалась по набережной. И тут она познакомилась с очень вежливым молодым человеком приятной наружности и примерного поведения. Это знакомство имело много последствий и в конечном счете привело к традиционному бракосочетанию по всем правилам, со свадебным балдахином и прочими атрибутами Моисеева закона. И хотя молодые, как это принято сейчас, все решали сами, не посвящая родных в свои планы, незадолго до свадьбы все же состоялось знакомство между родителями молодого человека приятной наружности и родителями Эдны.

Доктор Голан и его супруга принимали у себя гостей – тучного промышленника и его дебелую супругу. Эти две супружеские пары, которым суждено было породниться, довольно долго мучились, пока наконец нашли общую тему для разговора. А этой темой, как ни странно, оказалась... пуговица!

Выяснилось, что промышленник рос в бедной многодетной

* Так автор рассказа называет открытую им науку, посвященную изучению пуговиц – „кафтор“ (иврит) – „пуговица“, „логия“ (греч.) – „наука“.

семье. Жили они в тяжелых условиях, и его детские годы прошли под сильным влиянием улицы. Однажды он повздорил с избалованной мальчишкой из богатой семьи – таким неженкой, маменькиным сынком, и из зависти оторвал пуговицу его новенького пальто.

Промышленник умолк. Его жена движениями глаз и рук сигнализировала, что не стоит распространяться на эту тему и разглаживать о своем малопочетном происхождении и неблагоприятных проделках далекого детства.

На некоторое время в салоне воцарилась тишина. Но наш промышленник любил застольные беседы, и он заговорил о том, как его огорчает падение морали в нашей стране. За последние годы резко выросло число убийств, то и дело слышишь о грабежах и воровстве, и это вызывает большую озабоченность. Как-то ему самому довелось быть на пляже, и он сдал свою одежду гардеробщику. Искушавшись в море, а затем облачаясь, он почувствовал, что в его брюках не хватает пуговицы. Правда, для него это не проблема, так как он – владелец крупной пуговичной фабрики. И хотя экономическое положение страны сейчас незавидное, его производство процветает.

4.

Доктор Голан был очень взволнован. Но не от того, что общественная мораль в нашей стране так резко упала. Напротив, в рассказе этого тучного человека он увидел проявление высшей справедливости, пронизывающей весь мир и его, Голана, жизнь в частности. Красной нитью идея общественной справедливости, заслуженного воздаяния, награды и наказания определяют таинственные отношения между ним и его будущим родственником, начиная с той далекой встречи на темной улице и до осуществления предрешиенного небесами последнего заочного контакта на берегу моря.

Со всей присущей ему осторожностью доктор Голан начал свое расследование – издали и окольным путем. Он спросил:

– А не сможете ли вы, уважаемый, сказать, имеется ли внутренняя психологическая связь между событием из вашего

раннего детства, о котором вы поведали, и тем фактом, что вы стали впоследствии производителем пуговиц? Именно пуговиц, а не другого продукта?

Толстяк торопливо проглотил кусок пирога, который не успел разжевать:

– Внутренняя связь? Психологическая? Вы, доктор Голан, большой ученый, а я ничего не смыслю в психологии. Я брался за многие бизнесы, но дело не шло. А вот когда я взялся за пуговицы – сверкнула удача... Простые пуговицы. Нет в нашей стране рынка для дорогих, изысканных пуговиц. Но делать их можно. Я могу предложить даже такие пуговицы, каких нет в Америке. Всех сортов и видов. Это дело мне знакомо. Только два месяца назад я вернулся оттуда.

– А когда вы уехали?

– Год назад.

Этот толстяк уехал в Америку год назад, а вернулся два месяца назад. Происшествие в Нетании на берегу моря произошло семь месяцев тому назад, то есть, когда тот был еще в Америке...

Из дальнейшей беседы выяснилось, что пуговица его собеседника была украдена на набережной Хайфы, а приключения профессора Голана и его дочери произошли, как мы знаем, в Нетании.

Все мистические построения доктора Голана оказались построенными на песке... Как утопающий хватается за соломинку, доктор Голан стал расспрашивать отца жениха, откуда он родом. Тот ответил, что он уроженец Иерусалима и никогда не покидал страны, кроме этой поездки в Америку, вызванной интересами бизнеса.

Молодые годы доктора Голана прошли за тысячи километров от Иудейских гор...

Так стало совершенно очевидным, что нигде и никогда не было никакой связи между доктором Голаном и этим тучным промышленником. И если бы Эдна не собиралась выйти замуж за его сына, вряд ли когда-либо состоялась встреча между этими людьми.

То, чего не бывает в жизни, вполне может произойти в рассказе.

Автор этого повествования не занимается исследованием пуговиц в разные исторические эпохи и при различных цивилизациях наподобие доктора Голана. Он также не занимается, в отличие от отца жениха Эдны, производством пуговиц. Поэтому он не знает, какое количество пуговиц имеется сейчас на белом свете. Во всяком случае, он полагает, что их миллионы. Пуговицы легко обнаружить на пальто и на брюках, на пиджаках и на платьях. Некоторые из них пришиты, некоторые оторваны. Предполагают, что сейчас население замного шара превышает пять миллиардов человек. Часть из них теряет пуговицы, часть приобретает. Но вот рассказчик взял одну лишь пуговицу и наделил ее духом жизни. И с этой минуты наша пуговица стала напоминать белый теннисный мячик, который летает над сеткой корта. И если бы не он, то не было бы столь напряженных отношений между двумя вспотевшими игроками, которые бегают, как ошалелые, с ракеткой в руках.

Каждый, кто наслаждается игрой, вправе также наслаждаться чтением рассказа, если он ему по душе.

*Перевел с иврита
Авраам Белов*

«ВИКТОР»

Цветной альбом, 48 стр.

В этой элегантно оформленной книге-альбоме вы найдете размышления Богуславского-публициста, цветные фотографии лучших картин Богуславского-художника и портреты домов, построенных Богуславским-архитектором.

30 шек. (за границей – \$12)

Чеки посылать на имя „22“, P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440

Павел Файнштейн

ПИСЬМА БЕСПРИЮТНОГО ЖИВОПИСЦА
ДРУГУ-ПОЭТУ В БОЛГАРИЮ

С. Литвиненко

Мой славный друг, не знаю, как начать.
Ведь ты на Черном море, я – на Средиземном.
Здесь на Майорке божья благодать,
Я шелушусь, но это не экзема.

Я просто загорел, а может угорел.
Здесь небо, море, воздух ярко сини.
Куда б не бросил взгляд, куда б ни посмотрел:
Какие жопки, друг, затянуты в бикини!



А грудки – нет, они у всех вразлет,
Ничем не скрыты, разве что загаром,
И если ты не полный идиот,
То девочки тебе всегда дадут задаром...

...Мы не могли решиться на измену
Самим себе и вот нас понесло.
Твоя судьба – покорным быть Гимену,
Моя – чесать затекшее чресло.

Эвксинский Понт твои обиды смоем,
Строчи себе, не ведая забот:
Сюжет готов, жена на стол накроет
И, даже, может выпить поднесет.

Так что еще? О чем еще мечтаешь,
Обшит, одет, накормлен и обут!..
А я как пес, зарю в пивных встречаю,
Того и жди, что шведки заебут.

* * *

*«...То Бог – проклятие проклятому от века! –
Смешал в моей крови, сгорающей в огне,
Пыл зверя и любовь – мученье человека.»*

Ж.М. де Эредиа

Привет тебе дружище Диоклет,
В стране болгар свирепых и угрюмых,
Где каждый хоронит за пазухой стилет,
Где море издыхает в дюнах.
Где птица, залетев, случайно заплутав,
Пытается быстрее убраться восвояси,
Но поздно... и она, надежду потеряв,
Сечет крылом скалу в последнем страшном плясе.

Где только ты один, любимец Аполлона,
Его десницею от прочих отличен,
Читаешь нараспев волнам Декамерона,
С прикладом положив на все через плечо.

Увы, года идут, мы старимся и снова
Тебе пишу стихи в надежде на ответ.
Пусть ты не Диоклет, а я не Казанова,
Все книги прочтены, не так ли, мой поэт?

И что ни говори, а мы с тобой устали
Нести народам свет в сей юдоли печали...

Прожитые года кладут на нас печать.
Не ту – сургучную с короной и девизом, –
А ту, что нам велит навеки замолчать,
Потворствуя чужим капризам.



И на земле – хоть покати шаром,
Все славно, солнечно... и пусто,
А наша роль пить терпкое вино
И создавать бессмертное искусство.

Как тяжело! И хоть бы кто помог,
Орфеи мы, и нам спускаться в Ад
Сто раз на дню. И да поможет Бог –
Нам выдержать хоть часть
божественных наград.

Я мог бы жить и вовсе б не тужил,
Деньгу б копил, как водится исстари,
Зачем Господь в один сосуд вложил,
Желание творить и слабость божьей твари?!



Какой бы ты ни был (пardon) скотина,
Какой бы ни был я (пardon) хамло,
Ты знаешь сам: нам целый мир –
чужбина,
Отечество нам – Царское Село.

Лишь мы с тобой, презрев Харона
(Вопрос „кого?“ – аккузатив!),
Внимаем лире Аполлона,
Глаза блаженно закатив.

И сопричастность нашу пряча
От глаз и грязных лап толпы,
В мечтах летим, надрывно плача,
За Геркулесовы столпы.

В дыму Балканы, что не ново,
Не слышно ржания кобыл.
Болгарин брынзы вкус забыл,
А турок даже запах плова.



Лишь хитроумный эллин с понтом
С ружьем стоит на Геллеспонтом.

Плывет косяк ставриды прочь,
За нею скумбрия вприпрыжку.
И зря рыбак, сдержав отпрыжку,
На лодке отплывает в ночь.
В свои расставленные узы
Поймает он лишь труп медузы.



Пустой трактир тоску наводит.
Ракия стухла, борщ горчит.
Ямщик болгарин песнь заводит
И невпопад ногой стучит.
И, в рот засунув огурец,
Ему внимает оголец.

Селянин с ржавою косою
Бредет, как смерть, засохшим лугом.
Он, венерическим недугом
Дыша на всех, идет босой.
Куда идешь ты, старина,
Когда в опасности страна?



Издохшей рыбы косяки
Колышет масляное море,
И вор везде сидит на воре,
И даже ругань на заборе
В стихах слагают босяки...

И лишь поэт сидит в трактире,
Перо до боли сжав в горсти,
Ему так нужно в этом мире
Сказать последнее прости.

Микки Вульф

СЕМЬ СОБЛАЗНОВ
СООБРАЖЕНИЯ

СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ
Открытое письмо марсианской бактерии

Мадам!

Позольте мне, скромному представителю внемарсианского разума, обратиться к Вам как посланнице разума внеземного. Поговорим начистоту, дружелюбно и весело, как это должно быть свойственно всем формам существования белковых тел.

Не знаю, сталкивались ли Вы у себя дома с понятием мифа. На всякий случай объясню, что речь идет о более или менее общепринятой лжи. Так, например, много веков назад считалось, что Земля плоская, что жизнью людей управляют боги, что капуста лечит от всех болезней, а съеденная в сыром виде печень врага способствует укреплению мужества.

Сегодня мы твердо знаем, что это неправда. Земля шаровидна, хотя и приплюснута, Бог един, но от Него мало что зависит, морковь полезна так же, как и капуста, а печень (даже если это печень Прометея) перед употреблением лучше поджарить. Прогресс очевиден.

Одним из наиболее популярных мифов была ложь о том, что человечество мучается своим одиночеством и вот уже много столетий грезит об открытии жизни на дальних планетах. Мысль о

Окончание. Начало в „22“ № 109.

множественности обитаемых миров стоила головы целому ряду упрямых людей. Предполагалось, что если эта мысль подтвердится, можно будет разом ответить и на другие коренные вопросы бытия и, в частности, примириться с тем, что человек - не венец творения, а всего лишь один из множества вариантов; что, следовательно, земной разум, не будучи уникальным, не непременно бессмертен; что, наконец, единственность Бога вовсе не значит, что и мы у Него одни; стало быть, если мы уничтожим или замучим друг друга, найдется кто-нибудь еще, о ком Он станет заботиться с характерной для Него обязательностью.

Проще говоря, подсознательно мы желали остаться единственными детьми. Почему-то приятно, даже подозревая о своей глупости и несовершенстве, верить, что таких, как ты, больше нет.

А как с этим у вас, коллега, у марсианских бактерий?

Должен откровенно признать, что открытие нами Вас отнюдь не произвело на земном шаре ожидаемого переполоха. Вообще-то это можно было предвидеть. Когда в свое время некто Н. Коперник (поляк по национальности; но я не уверен, что сумею объяснить Вам эти два слова) выдумал глобус, никто не бил в колокола, кроме инквизиторов - потенциальных журналистов. Когда они же, журналисты, уже в мое время, устроили шум вокруг НЛО и даже открыли науку уфологию, читатели, за исключением нескольких сот истеричек, встретили сообщения о пришельцах со спокойствием жвачных животных. Никто не бросился бриться чаще обычного, собирать чемоданы и писать завещания. Даже массовые демонстрации против атомной смерти, как я недавно узнал, организовывались за деньги (боюсь, что и тут Вы меня не поймете, но со временем понимание придет само).

Так или иначе, в моей стране сообщение о том, что на Марсе есть жизнь, не стало сенсацией. Об этом рассказали походя, между спортивными новостями и прогнозом взаимных убийств во всех частях света, и я как мужчина, хотя уже сильно потрепанный, считаю своим долгом перед Вами, мадам, извиниться.

Мне бы хотелось с Вами поговорить воочию, без микроскопа, где-нибудь на прохладной веранде у моря. Хотелось бы знать, образуете ли Вы споры, пользуетесь ли жгутиками, как относитесь

к стрептококкам, бактериям и вибрионам, любите ли детей, своих и чужих, и если да, то как Вы их различаете. Я был бы счастлив Вас познакомить с моей семейкой, хотя не уверен, что она привела бы Вас в тот же восторг, в какой приводит меня. Я хотел бы - и это у меня общее со всем человечеством - послушать Ваши ля-ля, узнать что-нибудь свеженькое о марсианских каналах, что-нибудь экзотическое о ваших мастодонтах и обезьянах, что-нибудь скабрезное о том, как размножаются на Марсе и какие получают еще удовольствия. Я подарил бы Вам набор портретов и фотографий лучших ареологов-марсоведов нашей планеты - Браге и Свифта, Фламариона и Скиапарелли, Аррениуса и Антониади, Уэллса и Лоуэлла, Сазко и Струве, Вокулера и Брэдбери. Я...

Если совсем откровенно, мне кажется, что мое гостеприимство не вдохновило бы Вас. То есть Вы, несомненно, были бы *comme il faut* и милы, Вы с удовольствием выдули бы стаканов семь чаю с очень хорошим хрустящим печеньем и прокатились на медузе по водной глади. Но все же... Все же, боюсь, мы с Вами не испытали бы того внезапного, хотя и бессодержательного, родства душ, которое люди испытывают иной раз в вагоне скорого поезда, переносащего их с места на место, при скоростном знакомстве за бутылочкой коньяка. Боюсь, что мы, Вы и я, не сумели бы стать закадычными друзьями и вряд ли, вряд ли какой-нибудь потешный видеofilm заставил бы нас смеяться с одинаковой искренностью. Часа через три, максимум через четыре, я заказал бы для Вас такси, подал бы Вам руку на крыльце и долго, по крайней мере до тех пор, пока машина не скроется за поворотом, махал бы Вам вслед этой рукой.

Потом жена, стоя у судомоечной машины, хмуро спросила бы:

- Какого черта ты ее зазвал? Развалилась тут как корова, весь дом закурила.

А я бы пожал плечами:

- Ну, раз ее наконец открыли... неудобно же... Ей тут, наверное, как-то не того... одиноко.

Потом, среди ночи, я бы проснулся, как часто просыпаюсь от жары, и вышел покурить на веранду. Звезды здесь, в Израиле, совсем не такие яркие, как я представлял их в другой стране. Вообще ничего никогда не бывает таким, как мечтается. Но Марс

я бы, наверно, все-таки разглядел. Красноватый, не слишком приветливый. В Вас действительно что-то есть неземное. Как подумаешь, какие у вас там долгие годы. Как подумаешь, какие у вас там пыльные бури. Как подумаешь, какие у вас там полярные шапки... Простите меня, сестра моя жизнь.

БАГДАДСКИЕ НЕБЕСА

Посвящается В.М.

...Мимино, герой „Мимино“, заказывает разговор с грузинским местечком Телави и получает израильское местечко Тель-Авив. Сия акустическая шутка была бы и неплоха, если бы В.М. не сострил первым и - удачнее, совершеннее. Конечно, это больше чем каламбур, и когда он писал, то, наверно, предвидел, усмехнувшись, как волшебная географическая обмолвка поднимет строку над Кавказом и - дымком из распечатанного кувшина унесет читателя в страну калифов. „Багдадские небеса“ и японская сакура - ни там, ни там он никогда не был - две опорные точки его гениальной строфы-прощания. Эта жизнь была так коротка, что прощальной кажется почти всякая его строчка.

Прощание - потому что каталог. Любое перечисление, включая инвентарную опись конторского оборудования, таит в себе некую грусть и завершается видимым или невидимым *adieu*, перхватом горла над переломом жизни.

Бытие рассказывает, как Бог привел животных и птиц к человеку, „чтобы видеть, как он назовет их“. Совершенно очевидно, что Он не хуже Адама справился бы с этим сам. Еще очевиднее, если подумать, что у Него была более глубокая цель: называние, по мере того как длилось, превращалось в воззвание, во взывание к жизни, которая рано или поздно приходит к концу. Десятки тысяч животных, тысячи тысяч птиц, мириад насекомых, рыбы, морские звезды, моллюски, травы, кусты, - а еще эволюция, происхождение видов! - никакой жизни не хватит их перечислить. И нельзя осознать без самоосознания, а значит - без боли, что со всем этим придется расстаться. Не случайно звучат, не устают звучать в Яд ва-Шеме имена погибших детей, не случайно румынская

революция 1989 года взорвалась после того, как диктор-журналист передал в эфир список расстрелянных диктатором демонстрантов Тимишоары: не комментировал, не проклинал – только называл имена, одно за другим...

Насилу и без особого успеха продираясь сквозь бурелом чужих мыслей, лаской и таской выхаживаешь свою, тоже кем-то наверняка обдуманную: жалко не жизни – жалко детства с его инстинктивной точностью взгляда, когда, Адам, видишь все так, как есть. Невинность – зрение без аберраций: вдыхая кислород, его же, а то и озон, выдыхаешь. Дальнейшее почти по Гамлету, но не молчание, а мычание. Чем дольше живешь, тем отвратительней становишься – себе (а уж другим-то!), – до чего мерзкий типчик, фу! Любить себя – во-первых, не за что, во-вторых – некогда: все силы уходят на то, чтобы не опротиветь близким, не оттолкнуть посторонних глупостью, бесцеремонностью, запахом пота, ковырянием в ухе, трусливым маневрированием среди ничего не значащих обстоятельств, в стремлении быть не обаятельным, – куда! – просто выносимым.

Можно любить других – но очень трудно: они ненамного лучше тебя, а иные хуже или сильнее. Можно – природу: она по крайней мере красивее – цветочки всякие, вечные снега, столетние баобабы, бабочки-однодневки, эфемериды. Виноград вкусен, персик душист, небо лазурно, собака ласкова, и все это неизживаемо, хотя в больших количествах чревато изжогой. А не обжираться, козел, – будь гурманом. Все изжитое – это изжеванное: вдруг отдаешь себе отчет, что сам себя съел, торопясь, облизываясь, чавкая, рыгая, испуская сладостное: „Как хорошо!“ Семь смертных грехов? Тебя хватало на то, чтобы помнить и понимать, что это грехи, а ведь куда страшнее, что они – смертные.

Умные люди говорили: цени мимолетность, коллекционируй мгновения, каждое из лучших – на вес золота. Называя – прощайся: увидел море – помни, что это в последний раз; отвернешься вытряхнуть песок из сандалии, глянешь снова – а оно усвистало: только геологический молоток, отколов от сухой скалы триасовую ракушку, подтвердит, что оно здесь было, плескалось, синело, нежно покусывало лодыжки... Как там у В.М.? „Совал ему в пену палку“? Ну, гусь!

Страх смерти - это предельная степень досады, когда до тебя, доходяги, доходит, как ты был нераспорядителен и неловок. Умный человек Иисус Назаретянин не зря учил: „кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два“ - второе-то и будет чистым доходом твоего духа.

Ты начинаешь подбивать итог, и тебя одолевает досада: то-то, то-то и то-то - зря, надо было так-то и так-то. Гордиться, по серьезному счету, нечем: девушки могли быть и почище, если не попокладистой, собаки, если уж суки, - породистой, климат, резко-континентальный, - мягко-сентиментальным, поступки - достойнее (не прогадал бы!), слова - не то чтоб намного умнее, но - точнее. Ума не нажил, денег не наворовал, домика - даже карточного - не построил. Дерево, правда, посадил - на субботнике у коммунистов: они тоже по-своему ценили субботу. Кого хотел убить - не убил. Кого хотел любить - не сумел.

Все это донельзя обидно. Бог, наверное, смотрит с небес и говорит: „Кхе-кхе, свяжешься с дураком - все испортит. Лучше бы Я дал жизнь - этому валуну, глаза - этой слепой глубоководной рыбе, уши - вон той музыкальной птице, руки - Венере, черт бы ее драл, разум - вон той громадной горе... Уж они бы нагляделись, наслушались, налюбили, надумали“.

Теперь тебе разрешено, хотя этого никто не знает наверняка, вежливо, с кем успеешь, проститься. Но - опять суета, опять спешка, опять боязнь прогадать. Ноги трясутся, сердце колотится, мысли путаются, лирика съезжает на дерьмо. Багдадские небеса рядом, но они уже навсегда принадлежат ему, до вишен Японии не доехать, бродвейская лампиония - что говорить, включай телевизор и любуйся...

Но вот тебе хороший совет, тебе и таким, как ты: дождись тишины в доме, вытри пыль с полок и со стола, вынеси мусор, побрейся и, если наконец чувствуешь себя готовым, начинай. Возьми энциклопедический словарь, он поможет. Непонятное пропущай.

Адио, *а* - первая буква русского алфавита.

Прощай, *Аалтонен Вяйне* (1894-1966), финский скульптор, почетный член АХ СССР.

Good bye, *Абастумани*, поселок городского типа в Грузии,

горноклиматический курорт с астрофизической обсерваторией вблизи.

Бывайте, *Аббасиды*, династия арабских калифов в 750-1258 годах. Я не любил вас, но будьте бдительны. Ку-ку.

ПРИЗРАКИ ИЗРАИЛЯ

От призраков самое радикальное средство - петушиная шпора, сваренная в заячьих следах. Но это в полночь, во тьме. А если утром? Если, так скажем, перед рассветом? Это для призраков самый час.

Утром хорошо помогает жена или черный кофе со сливками.

Днем, конечно, с призраками бороться бесполезно.

Ночной призрак интернационален и безлик: кровавые мальчики, костлявые пальцы, тень отца, отец тьмы, снотворная молитва, циклонное кружение душ, наркоз слез, видение этого названия... но тут уже спим.

Все привычно, как семейная поза: тот же накатанный штрих, тот же холодок содроганий.

Дневной призрак - подлец отборнейший, по горло залитый медом солнца, с луженой глоткой, маленькой смуглой головой и веселыми глазами враля. Сходите на блошинный рынок, на эту экспозицию привидений, факультет ненужных вещей, посетите утиль-галерею Йосла Бергнера, вход бесплатный, держи карман уже или уже не держи, с любым ударением.

Чем манят эти призраки? Множеством, разнообразием и ненужностью. Большая их часть настолько обестелесилась и истерлась, что они не могут быть названы и описанию тоже не поддаются, поскольку при очевидности размеров неясны контуры. О функция нечего и заикаться. Керосиновые лампы без колесика, но с вывалившимся наружу фитилем, как собачий язык, из того же бергнеровского ряда керогазы и примуса с наканифоленной вечной иглой, обложки без книг, беспарные сапоги для раздувания самовара, заплесневелые батарейки времен мамелюков, семейные фотки - крестоносец с крестоносицей над полумесяцем аккского пляжа, Василий Иванович, переплывающий Яркон, зава-

лы ржави, в которых непонятно зачем копаются покрытые рябью субъекты с прахом веков под ногтями и фингалами на скуле, - все это еще суперреально и полнокровно по сравнению с главной массой рыдающего, икающего, кряхтящего и пукающего товара. Кроме полоумных, никто ничего не покупает, а за них самих и гроша не дадут: вы замечали - натуральные сумасшедшие всегда пахивают дешевой литературой? А почему? От нее и тронулись. Особенно трогают своей непритворностью пыльные безделушки - гимнаст на рваных веревочках, ванька-встанька со сместившимся к мозгам центром тяжести, куклы-замарашки, обтерханные до того, что легче украсть, чем купить. Изобилие нечищенной меди - прямо из медного века. Тут же свежие фрукты, продаваемые с колес за такой бесценнок, что начинаешь подозревать, будто они отравлены медленным ядом семейства Медичи. Но бесплатного здесь нет ничего, кроме воздуха, за который, впрочем, тоже платишь - налогом на фантастическую добавленную стоимость при полном отсутствии реальной цены.

Во всех выставленных на продажу вещах настоящее только то, что они были кому-то нужны, служили службу и дружили дружбу. Теперь осталась одна оболочка. Любой из стоящих над ними хозяев - не хозяин, а перекупщик или наследник. Мы имеем перед глазами сконденсированную в виде б/у привидений историю Европы, Передней Азии и Северной Африки, но не систематизированную, а, так сказать, вещевую, в ошметках и отходах. Если бы воскресить всех, кто этим давно и недавно владел, большое бы вышло международное гулянье - хоть заселяй, по отсутствию места на Земле, голубую небесную Антарктиду.

Несколько кварталов Яффо, занятых под этот бедлам, производят впечатление сумасшедшего дома, выехавшего на пикник с одновременной просушкой белья. Но атмосферу тихого помешательства создает, если вдуматься, не концентрация товара без покупателя, барахла без тел, предметов без назначения и миссии без цели, а - вынесенная из складов на улицу мебель, ибо когда нет стен, а только синие вены небес над разрезами вьющихся улиц, стулья и столы, секретеры и комоды, а тем более шкапулки и разверстые недра шкафов превращаются из вещей в симптомы, в знаменья незнамо чего. Весь антик - сплошь из прессованной

фанеры и ДСП, раскрашенных под орех, бук и дуб. Встречается, впрочем, и ампир королевы Виктории, но от подлинников шархаешься, как от подделки. Прямое попадание солнца тоже способствует.

Если добавить к этому непотребное множество свеженаклепанных гигантских мангалов, исполинских шашлычниц, великанских шампуров и жестяных вентиляторов, ибо безумие всегда сопровождается ветерком, картина становится совершенно завершенной. Тем более что все почти бесшумно - это вам не Кармель! - и только герметически закрытые автобусы, проплывающие по вещам и людям, как бронированные джипы по заповеднику Серенгети, пробуют тишину осторожными гудочками.

А теперь возьмем предрассветный осенний Бат-Ям, очаровательный зеленый скверик, обставленный с трех сторон многоэтажными домами, фасонистыми и простенькими, спящими до упора, увитыми блеклым туманцем. Возьмем человека, сонно бродящего по травяному ковру, по росистому этому дерну вслед за собакой, с которой они систематически и планомерно вот уже с год орошают и удобряют окрестности. Утренняя робинзопада, золотой промысел. Он мало что замечает спросонья. Еще деревья таинственны и двусмысленны, еще листва безгласна, будто окаменела. Душа принимает бесшумный душ, лавочки в своих шевролетах только слетаются на добычу... Но что это за фигуры, там, на полукруглом балконе пятого этажа, едва различимые, кажется неподвижные, разнорослые? Они белы, они колышутся, теснятся, они смотрят. И если бы на тебя, а то - с верхотуры, в оцепенении - в сторону моря. Давно ль они там, неужели всю ночь стояли? Отец, мать, ребенок - совершенно нагие. Какая даль мерещится им в уплывающей в запад тьме? Какие призраки им блазнятся над замершими волнами? Какие бури их ждут, когда развиднеется? Боже мой, скорее бы рассвело, потому что тайны невыносимы и грозят скорбью и скверной. Они похожи на манекены, он верит в свою догадку, и когда наконец рассветет и станет ясно, что это манекены, он не разочаруется и даже испытает нечто вроде гордости. Но какого черта их, голых, занесло на пятый этаж?

Свистнув собаку, он надел на нее поводок и исчез.

ЗОЛОТОЕ КОПЫТЦЕ

*«Вселенная - это сфера, центр
которой везде, а окружность нигде».*

Блез Паскаль

Будучи грязной свиньей (*Sus scrofa*), могу вам сообщить, что чистоплотность бессмысленна. Будучи к тому же старой свиньей, сошлюсь на собственный опыт и, чтобы не доставлять вам удовольствия, поставлю точку. Нет смысла мыть руки и чистить зубы. Нет резона скрести себя мочалкой и пемзой. Все равно завоняешься - не сейчас, так после.

Луна смердит - вы разве не замечали? Море воняет псиной. Аммиак сдабривает пищу. От арбуза несет сивухой, от сена - „Тройным“ одеколоном. Гнуснее плесени только пепельница. Задушевный собеседник, прижимая тебя к себе, вталкивает тебе в ноздри гнилые зубы.

А перепревшая трава, дышащая прокисшим „жигулевским“! А сероводородные артезианские скважины с акустическим уклоном! А когда копаешь картошку и вдруг наткнешься на порченный клубень - склизкий, как труп, превратившийся в желе. Еще о слизи? Не стирайте простыни, не мойте холодильник, раскройте книгу, пораженную грибом... И, пожалуйста, не содрогайтесь, потому что опять же слизь...

У неба насморк. Пещеры захлебываются мокротным кашлем. Среди всей этой великолепной клоаки стоит глупый человек, придурок жизни, и горделиво озирает себя.

Похрюкивая со стороны, гляжу на него и я. Вот деревья - пока в них не заведется дупло, они прекрасны, сухи и чисты. Янтарная душистая смолка с виду почти прозрачна, однако мутнеет и крошится, стоит припечатать к ней ноготь. А этот - я смотрю сквозь желтые загнутые ресницы и поражаюсь: до чего небрезглив!

Мышь путешествует по спине слона. Светило плавает во мшистой бадье на срубе. Я скольжу косым взглядом по обводам царя природы: здравствуй, товарищ! Такой ты, стало быть, гусь? Перышко к перышку - солнечноклювый, желтолапый, с искрящейся пылинкой на терке-перепонке у коготка.

Потолкуем же о чистоте духа и тела, дела и пуха, вспомним дальние странствия и затянутые песком горизонты, голубые тени на синих холмах, заблудившегося охотника, набивающего передки сапог мятой, алые маки и босоногих чаек у кромки озера. Как жених и невеста, скитаемся мы по обочинам бытия, как мускус и камфара, испаряемся в ноосферу, и нет в тебе ни милосердия, ни любви.

Я, свинья, обладаю почти классическим еврейским обонянием, позволяющим выкапывать трюфели с любой глубины. Но нет нюха в природе, который мог бы определить запах, делающий тебя человеком. Я различаю цветы и травы, насекомых и птиц, хорьков и куниц, я знаю, почему коты балдеют от валерьянки и как йодом лечат щитовидку. Но я не могу понять, почему ты портишь и пачкаешь все, к чему ни притронешься. О каких мерзостях повествует, запинаясь и чмокая, твой язык посредством губных и зубных, фрикативных и небных? Какие скрипучие мысли бродят опарой в душном запечье твоего мозга, пахнущего овчиной? Грезы о небесах – не только твое достояние. К тому же ты почти уже и не грезишь, а перетолковываешь выдумки своих предков. Своих? наших общих, монополист!

Когда мы бодрствуем, мы страшно похожи друг на друга – в конце концов, таблица Менделеева одна на всех, как жизнь и смерть. Когда мы спим, ты, признаюсь, гораздо лучше. Но это именно те часы, когда твоя гордость оставлена в уборной и спесь покидает морщины, и челюсть не ползет впереди, как нож разгрохотавшегося бульдозера. Только невидимые чертики пляшут под опущенными веками, но вот и они угомонились; ты спишь – и даже скверные запахи потихоньку меркнут, дожидаясь рассвета.

Твое тепло, ты не обижайся, это большей частью тепло животное, мне родное. Твоя улыбка и шутки – а знаешь ли, как смеются собаки и даже куры? Хе-хе-хе, хо-хо-хо, ху-ху-ху. Страсть к лошадям – и та у нас с тобой общая, хотя, полагаю, ты бы разочаровался, взглянув на лошадь снизу, в непривычной проекции. Тебя вообще слишком легко разочаровать.

Но, может быть, тебя укрепит моя любовь? Как ни странно, я безумно люблю тебя. Может быть, немного по-свински, может быть, слишком эгоистично, но все же не по Уайльдуду. В конце

концов, когда доходит до разделки, съедаешь ты меня, а не я тебя.

Позволь рассказать, как я люблю тебя, пользователь щетины. Безответно и беззаветно. Вонючего и грязного. Некрасивого, каким во всем органическом мире бывает лишь человек. Подлого - тоже твоя привилегия. Невыразимо прекрасного - когда тебе не на ком отыграться, кроме себя самого.

Ковром хорасанским лечь бы под ноги твои, но шкура у меня не пушистая - барабанная. Соловьем бы залиться над ушком твоей крали - слух не тот, и модуляции не даются. Той же луной просиять над вами - это можно: отрежь пяточок. Отбивной, рулетом, соленым салом... нет, это уж дудки, это шалишь.

И все-таки знай, мой зловонный мечтатель: когда придет Страшный Суд (а ты зря сомневаешься в его неизбежности) и мы вместе взойдем на мост, как всегда, слишком узкий для нас двоих, с волосяными перильцами, с тихо поскрипывающей над пропастью доской, с дикими трубами, воющими в сером зените, и ты отшатнешься, заглянув в бездну, - не бойся, возьми меня за холку, прислушайся к беззаботному стуку моих копытец, к беспечному повизгиванию моих поросят и твоих детей, бегущих вперемешку, толкаясь, за нами следом. Шагай, не трепещи. В крайнюю минуту я шагну вбок, и можешь быть уверен, что наше неразделимое свинство умрет со мной, в долгом падении среди солнц, комет и помойных ведер с остывшей болтушкой. Вперед, мой друг, торопись, любимый. В новой вечности ждут тебя ангелы, которых, как ты думаешь, ты достоин.

КУКСИНЕЛЬ

Многие годы он мечтал бриться опасной бритвой, как сосед-фронтоник, но так и не рискнул приспособиться.

Да и что брить? Ни о каком лице, ни о какой цельной личности речи здесь быть не может. Из генетически унаследованных черт его характера я упомянул бы нелепую, неуместную вспыльчивость, приступы которой выдают окружающим, насколько он неумен и слаб. Когда гнев или обида бросаются ему в голову, он

моментально теряет не только рассудок, но и всякую меру, и способность сопрягать слова с воспламенившимся сердцем. В такие минуты он неубедителен, неприятен и кажется неопрятным.

Борода шла ему до тех пор, пока он не превратился в старого козла.

Душа его чрезвычайно переимчива и чувствительна к интонации, манере, стилю собеседника, хотя артистичности лишена почти полностью, что порой выручает его: он просто не успевает показаться бестактным. Хорошая автоматизированная, хотя и сдающая в последнее время память дает ему возможность, быстро перебрав идущие к делу повадки, выбрать самую нейтральную из них и по необходимости выглядеть внимательным, заинтересованным, даже участливым. Он бывает, на взгляд со стороны, и добр, и остроумен, и терпелив, но как-то не сам от себя, а потому, что так принято. В сущности, он все время боится опростоволоситься и искренне предпочитает одиночество, когда можно без оглядки поковырять в носу.

Хвастаться он стесняется и чрезмерных похвал не переносит, зная, как легко поддается любым, в том числе самым гнусным влияниям. При достаточной настойчивости умелый пропагандист убедит его, даже не вспотев, в чем угодно. Его счастье в том, что, живя в относительно цивилизованном обществе, он обошелся общепринятым *modus vivendi* и, миновав закидоны юности, не стал ни законченным подлецом, ни карманным вором, ни преподавателем марксистской эстетики, ни мелким мошенником. Впрочем, для последнего ему опять же не хватило бы артистичности и ума.

Внутри себя он убежден, что любить его не за что, и полагает, что отдававшихся ему женщин привлекала исключительно и только его веселость. Он знает, что он трус, пока не вспылит, и знает, что, даже вспылив, он тоже трус, отчасти утрачивающий инстинкт самосохранения. В уголовниках такие типы, если их с самого начала не забить и не запугать, принадлежат к самым опасным для окружающих.

Предает он легко, в мелочах и по-крупному, стыдится этого, но преодолеть себя не может - нет стержня! - и тихо радуется, что никому не нужно ходить с ним в разведку.

У него есть благоприобретенный вкус и некоторая пронизательность в оценках, тоже, впрочем, не прирожденная, а нажитая. Даже зайца можно научить зажигать спички, а этот все-таки сын человеческий и при всем своем бессердечии знает, что „лучше“ (и, как правило, безопаснее) быть снисходительным, чем жестоким, правдивым, чем вруном, педантичным, чем безалаберным, терпимым, чем фанатичным, умытым, чем грязным. Многие годы, прожитые при большевиках, вбили в него отвращение к агрессивной плебейской простоте, хотя на досуге, улучив минутку, он не без приятности читает дешевые детективы и мистику, смотрит мексиканские сериалы и штатовские боевики. Страсть к насилию, вытесненная в дальний чулан его мозга, влечет его постоянно, и, если бы жизнь сложилась по-иному, он, вероятно, имел бы удовольствие мучить детей и женщин. Иногда, словами, он это и делает.

В его характеристике, написанной для школьного досье после окончания четырех классов, было указано вслед за „любовью к чтению“ и „небрежным почерком“, что он „болезненно воспринимает любую несправедливость“. Вспоминая эти слова, он со щемлящим волнением понимает, что они абсолютно фантастичны и сказаны не о нем. Ему действительно нравятся честные, героические, мужественные люди, но нет такой несправедливости, которая, будучи совершена даже по отношению к его близким, заставила бы его содрогнуться душой от мысли, как омерзителен этот прекрасный мир. Смущает его то, что, как ему кажется, в детские годы он еще совершенно не умел лицемерить, да и сейчас не слишком преуспевает в практическом притворстве.

Он обладает кое-какими способностями к словесной работе, но реализовать себя в этой области не смог, поскольку душевному труду так и не научился, не имея природной смелости, потребной для этого дела. Чувствуя (а с недавних пор и сознавая) столь существенный недостаток, он привык возмещать его механическим образом, трудясь упорно и даже чрезмерно в любой сфере, которая не требует серьезных вложений духа. Такое усердие приносит свои плоды и порой производит впечатление творчества. Рассмотреть подделку может всякий, кто внимательно поглядит на него. Но приглядываются редко, и почти никому нет дела до того, что он банкрот от рождения.

Из школы его выгнали после какого-то скандала с грязнотцой. Один одноклассник, впоследствии алкоголик, по фамилии, кажется, Бабин, видел его насквозь и любил при уличных встречах публично обличать его мерзость. Когда Бабин умер где-то лет в тридцать с гачком, он ощутил облегчение и удовлетворение. Вообще он не без удивления заметил, что многие из тех, кому его ничтожный характер был ясен, как спичка в коробке, умерли один за другим, избавляя его от чувства, что кое-кто из свидетелей видит его без рентгена. Некоторые, однако, еще живы, а иных он просто недостаточно знает. Поэтому, став относительно приличным и достойным человеком, он терпеть не может встречать прежних знакомых, особенно таких, которые говорят: „Ба-ба-ба! Узнал меня? А как меня зовут? А где мы с тобой встречались, помнишь?“ В таких случаях он багровеет, грубит, подсознательно старается не вспомнить и спешит как-нибудь смыться.

С годами, отягощенный тысячелетиями культуры, он полюбил сидеть на своем стуле, пить из своей кружки, спать на своей кровати.

Работать в „сходи-подай“ он пошел рано, еще подростком. На работу и с работы ездил в трамвае. Трамвай ходил по насыпи возле его дома. К тому часу, когда он должен был вернуться, бабушка, которая очень его любила, выходила на крыльцо и поджидала его. Он становился на подножку задней площадки и, не доехав до остановки, ловко, напоказ соскакивал у своего порога. Однажды, чересчур увлекшись элегантностью этого соскока, он вломился рылом в чугунный столб. С тех пор он стал еще глупей, чем родился.

Этот случай рассказан не в оправданье ему, а как бы для морали. Для морали же закончу тем, что он все-таки старается держать себя в рамках и вообще к старости стал чуть менее гадок, хотя и более вонюч. Выручают его непосредственный юмор, занятость, деловитость, отработанные обтекаемые ухватки. Он приучает себя быть вежливым и, насколько хватает терпения, деликатным. Однажды он поймал себя на том, что даже к Богу обращается на „вы“. „Господи Боже Вы мой!“ – восклицает он.

После всего сказанного и съеденного мне, пожалуй, нечего добавить о животных.

Uomo e animalo carnivoro: человек - животное плотоядное, - такая надпись украшает кафельные стены неоновых римских *ит.лизов*.

Таская глупых сардинок из синей консервной банки Черного моря, я слышал, не веря ушам, как они пищат, когда блестящий, голый, красиво изогнутый крючок вместе с нижней челюстью выдирают из их лица.

Их беззащитней только братья цветы.

Но если вы дадите покой моей безнравственности, я готов изложить несколько эмоциональных соображений по поводу одиночества нестатных животных.

Я не дозрел до благодарности Богу за то, что Он сотворил меня *адамом*, но всечасно и ежеминутно испытываю к Нему признательность за то, что Он дал мне руки: работать, чесаться, ласкать, бить себя, олуха, по лбу. Ни одно другое из божьих созданий не умеет этого делать с таким разнообразием и обезьяньим распутным изяществом.

Сейчас, когда по ночам стало прохладно, я перед сном укрываю свою сучонку старым обтерханным одеяльцем. Она уже понимает: сворачивается клубком на подстилке, позволяет накрыть себя с головой и подоткнуть по окружности.

Что будет с ней, если я исчезну? Что будет со мной, если издохнет она?

Ничего не будет, всем все равно. Мы, люди, согреваем друг друга разными способами: ложка в ложку, бывает, заляжем членораздельно, как столовое серебро, и дышим теплом, до интимного запотевания амальгамы - не очень гигиенично, зато уютно. О том, что „каждый умирает в одиночку“, мы читаем и говорим с недоверчивым огорчением, как будто, если всерьез задуматься, хотели бы кого-то забрать с собой, а нам не дают. На деле, конечно, я бы всем-всем приказал долго жить, но вот уходить самому - все равно как голому стать перед медкомиссией.

Посмотрите на них - кошек, собак, голубей поганых. Фиоле-

товый женственный глаз лошади, безумный, с прожилками, белок в глуповатых очах коровы, который только мнится опасным, белоресничный, нагло-равнодушный прищур свиньи – вот где одиночество беспросветное, несказанное, прямо от мамкиной титьки – в бездну, и так до самого, относительно быстрого у них конца, где поджидает бездна почище – ни мышей, ни травы, ни изнеженности нравов. С каким безнадежным мужеством и неоцененным достоинством катят они этот жернов, обожая притом дружить с человеком, который ценою рабства и шкуры как бы их приобщает к наилучшему уровню коммуникабельности.

Мы любим покалякать – они не могут, хотя бы и захотели. Ни объяснить, где болит, ни сорвать злобсть бессвязной тирадой, ни умом пострацать какую-нибудь сдобную телку с подмышками, как пещера Али-Бабы. Я уж не говорю о паучке-воздухоплателе, вцепившемся, как якорь, в свой летучий секрет и безгласно шевелящем дрожющими жвалами, – но трубящий олень и тайна его риторики – во что, в какую гормональную дисгармоничную ярость преображается эта громоподобная немота? Какой Демосфен дымит и плюется камнями в ожесточении лисицы, попавшей в капкан и беззвучно отгрызающей себе лапу? Какой ахеронный холод выжигает нутро сиамской кошки, разучившейся даже мурлыкать, не сводящей с тебя презрительных линз, ибо это она для тебя загадка, а ты для нее всего лишь кормушка?

Вегетативное существование, до полусмерти пугающее стариков и старух, есть постоянный удел окружающего нас мира. Искать азбуку Морзе в шуршании миллионов пресноводных крабов, пересекающих шоссе, чтобы выметать икру в соленое море, так же бесперспективно, как подслушивать космос, не испытывая стыда или хотя бы неловкости. Наши свидетели, свидетели обвинения, редко защиты, – они молчат здесь и будут помалкивать там, не гордясь нами, не думая о нас, не думая вообще, обделенные не духом, но мыслью, бесконечно пугливые и беспредельно отважные.

До известной границы – до ворот живодерни – мы пытаемся общаться с ними на равных, щедро, хотя и не всерьез, приписывая им свое понимание, сообразительность, сметку, благородство, великодушие и так далее. Всего этого нам не хватает самим, но

делиться тем, чего нет, не жалко, все равно как пивной пеной. А им, во-первых, и в голову не приходит, что они могли бы желать паритета; во-вторых, он им как рыбке зонтик: мы существуем в условном времени, они - в безусловной вечности.

Царство Аида на Земле! Серая тень белого медведя, неведомо чему ухмыляющиеся дельфины, выносящие на тень берега тень Ариона, амбра в кишках кашалота, выброшенного из моря, как послание: он сообщил мне о том, что мой мозг, каждая в нем клетка, питается кровью, и хорошо, если только своей. О какой духовности вы толкуете? Uomo e animale carnivoro плюс гусиное некогда перо, собачья некогда упряжка, рыбий некогда жир, слоновая некогда кость. Из этого „некогда“ вытекает, что Прозерпина уже не валяется на перине гагачьего пуха: почему тень Левинсона такая умная и красивая? потому что он подарил Прозерпине матрац „Аминах“.

По мере развития техники животные становятся нам не нужны, такая вот прорезиненная проза. Не сказать, чтобы я сильно по ним тосковал, но, как ни странно, я их все чаще жалею. Тет-а-тет, чтобы не подумали, что я сумасшедший, я поговорил бы по душам с крысой на атолле Муруроа: время и место определили бы тему, и я вам ручаюсь, что монологи произносил бы не я. „Мсье Жак...“ - начала бы она, слизывая с усов кровавый пот.

Разве не жалко?

Утешает лишь то, что, как пишется в книгах мудрецов, никто не может сказать определенно, что́ будет с человеком после смерти, зато совершенно точно известно, что животные становятся ангелами, хотя и не самого высшего разбора, но все-таки. Святые животные, так их и называют в ангелологии, смотри Иезекииля. Птицы небесные - те уж точно. Рабби Акива, правда, самолюбиво настаивает на том, что даже те из животных, которые влекут престол величия, не могут лицезреть Бога. Тем не менее можно надеяться, что при Нем им живется легче, чем с нами.

В АДУ ПРИ ДОЛИНЕ

Мне приснилось, что глубокой летней ночью 1820 года я про-

снулся в одной из турецко-болгарских долин неподалеку от моей родины Бессарабии. Пожалуй, на сегодняшней карте то был бы самый север Придунайской Болгарии: горы позади меня сменились холмами, и мягкие их края стелились плавно, обрезая далекие, чуть различимые перистые облака, тополиную купу на тихом склоне, крупное, лошадиной дрожью подернутое тело звезды, не то уходящей с небес, не то лишь только всплывающей снизу.

Я огляделся.

Темный воздух был чист и полон запахов. Еще не выступила роса. Редкие кузнечики стрекотали время от времени, как будто всхрапывая со сна. Чуть белели справа головки ромашек, журчал на перекате мелкий ручей, и цветущий чертополох молочным щенком лизнул мою руку. Он же и уколел меня, когда я невольно ее отдернул.

Я начал думать, что дальше.

Очень скоро мне стало ясно, что было бы лучше всего тут же лечь в траву и умереть, потому что никаких шансов не оставалось.

Представьте себе полуодетого человека, окруженного теплой природой, но не знающего о мире, в котором он вдруг очутился, ничего, кроме даты и места. Любой болгарин или румын, не говоря уже о турке, увидев мою еврейскую физиономию, услышав мой ломаный язык с русским акцентом или - чего сглупа не придет в голову! - две-три ужасные английские фразы, - прирезал бы меня не сходя с места, без разбирательств.

Диких животных, не имея с ними в прошлом никаких дел, кроме как в цирке или зверинце, я почти не боялся, и уж по крайней мере не так, как людей, которых успел узнать довольно близко.

Хуже всего - мне им нечего было сказать.

По сравнению с янки из Коннектикута, заброшенным в Англию шестого века, я очутился в более скверном положении. Даже он, золотые руки, толковый механик, человек, говоривший со своими праангличанами на одном языке, очень быстро угодил на костер и несомненно был бы сожжен, если бы не спасшее его затмение солнца. Но я не янки, не Иисус Навин и не другой Иисус, тоже не уцелевший. У меня не было золота, которое я мог бы отдать за свою жизнь, не было оружия, которым я давно уж забыл как пользуются. И, повторяю, если бы я и владел языком, что я мог

бы сказать встречному пастуху, разбойнику или помещику с его холуями?

Что я гражданин Израиля конца XX века? В этой фразе нет почти ни одного слова, которое они могли бы понять, и совсем ни одного, которому они бы поверили.

Да и, положим, в лучшем случае, скрутив руки назад вонючей веревкой, меня пригнали бы в Бухарест и поставили перед русским консулом – как бы я с ним объяснялся на чистом русском? Какой интерес понудил бы его говорить со мной – и о чем?

Я мог бы попытаться относительно внятно изложить ему историю его страны на ближайшие два столетия вперед. Какими словами? Мысленно ставя себя на его место и глядя на себя его взглядом, я не могу вообразить, чтобы он, даже будучи для такого случая европейски образованным человеком, хоть одно бы мое прорицание принял всерьез. Толстой еще не родился, Марксу два года, Гете, кажется, жив, и что-то такое Гегель пишет о разумности всего сущего...

Как описать этому мальчику две мировые войны, большевизм и нацизм, демократию и коррупцию, ядерное оружие и ракеты с лазерным наведением? А за слова „экологическое равновесие“ или „партийная дисциплина“ он велел бы вздернуть меня тут же, на дубе у коновязи. И правильно сделал бы.

У янки солнце, у меня – Пушкин. Я точно знал, что очень скоро, оправившись от екатеринославской лихорадки, он появится в Кишиневе. Если бы мне удалось перехватить его на Инзовской улице, я, вероятно, смог бы вспомнить, почти не перевирая, кусок „Цыган“, десятка два строф из „Онегина“ и примерно столько же более поздних стихотворений, включая „Памятник“. Как подпоручик Дуб, я назвал бы ему фамилию его будущей жены и свояка, и, думаю, моя версия его предстоящей жизни слегка бы смутила Александра Сергеевича. Мы могли бы еще побеседовать о Гамлете или Мольере, но, скорее, он вообще не стал бы со мной толковать: слишком все это прозрачно и невероятно.

Оставались кишиневские евреи, но можно себе представить, как бы они шарахались от меня с моим зачаточным идишем и потугами описать быт и нравы еврейского государства, где я живу скоро пять лет.

Я и вам, моим современникам, не умею объяснить чувство, отчетливо говорившее мне, что будущему конец. Оно овладевало мной, как цикута Сократом. Трава начала холодить мне ноги, и, чтобы не стоять на месте, я осторожно поплелся сам не зная куда, но холод, сводивший икры, поднимался все выше. Квакнула где-то лягушка, проорал в немыслимом далеке – до чего же звбнок! – дурной петух, которого я уже никогда не увижу. Ночь все еще не редела. Я смотрел на небо, где ни один спутник не бороздил космос. Я понимал, что и сверху земля в этот час безнадежно темна, – мне с болью вспомнились электрические композиции городов и селений, какими я их видел из ночных самолетов.

Мы одиноки не только в пространстве, но и во времени. Мы живем в норках, как грызуны. Страшно узка амплитуда температур, которые нас НЕ убивают. Страшно ограничен наш стол – остальное все ядовито. Страшно строг состав воздуха, которым позволено нам дышать. Шаг в сторону из эпохи, отпущенной нам, считается побегом, и конвой стреляет без предупреждения. Относительное открытие границ, до которого мы наконец дожили, – жалкий подарок для заключенного, которому разрешили невозбранно перестукиваться с соседними арестантами. Я понимал, что выбор места и года, где высадила меня чья-то воля, достаточно ироничен: кому-то было интересно, как я буду барахтаться в этом „почти“, – родина почти рядом, но у меня нет надежды туда добраться; язык людей – ведь они где-то близко – мне понятен, но объясниться с ними я не смогу, и все мои жалкие гуманитарные знания, вся моя почти изжитая жизнь лишняя здесь без оговорок. Я хуже, чем Маугли, и безвредность не перевешивает моей ненужности.

Я и не барахтался – ну его! Сориентировавшись, я все-таки побрел на север – где-то там жили мои относительно недавние предки, и эта мысль чуть-чуть согревала меня.

НАТЮРМОРТЫ МАРТОБРЯ

Утро, половина десятого. Солнце, ветерок, еще не жарко. Сегодня суббота, и улицы, пестро заставленные машинами, и замусо-

ренный асфальт спортплощадки, и школьный двор с брошенной сиреневой майкой на лавке, и скверик в кактусах и собачьих погадках - все пусто. Из еврейского народонаселения - одни воробьи. Жить можно.

Ночь прошла в душных тревожных грезах, в стогах брачующихся кошек, в преступном хлопанье неплотно прикрытых дверей. Перед рассветом в окне постоял над левым плечом ажурный, в румянах, серпец убывшего месяца.

Пейзажи-с.

К луне у меня старые счеты. Помню, не то явь, не то бред, тесный дворик, распроблагоухавший помойкой, прожекторное лунное око над толевой, в инистых блестках, крышей сарая и снующий в пыльном луче, как застежка молнии, с тракторным стрекотом биплан-кукурузник. Вдруг он распался в воздухе, и части его, уменьшаясь в размерах, стали падать на нас - на меня и на бабушку. Одно крыло ахнулось возле чахлого водопроводного крана, так что тот перебздел со страху, пропеллер вонзил свою лопасть в соседский свинарник, так и засел там, а летчик, окутав меня парашютным шелком, отнес в постель и велел лечь уже на правый бочок, ручки под щечку, вот именно, кецелэ. Грузин, должно быть.

И эта пьянящая роскошь летних смоленских ночей, пенье днепровской волны, хлюпанье поцелуев в темном парке культуры, кирпичный кремль напротив гостиницы, по руинам которого два часа пробродил я влюбленный в луну, простирая блудные руки к зубцам на башнях и точно выбирая дорогу невидящим взором, а папа крался за мной, боясь спугнуть, разбудить, разлучить нас: луна обидчива, камень рассыпчат, милиция дрыхнет, а сын один. В зоотехники дурака.

На исходе службы в Советской Армии, собравшись, как Еремушка, в университет, я сговорился с главным хирургом военного госпиталя в городе Дмитрове, что он произведет надо мной некую интимную операцию, запоздавшую на двадцать один год. Это сам по себе довольно занятный сюжет, но здесь мы осветим лунным светечком только один эпизод. По истечении десяти майских дней, проведенных большей частью в упоительном больничном саду, помнится, с Клавочкой на лавочке, мне пришлось

на попутках возвращаться в родную часть. С выездом я замешкался. Другая часть, еще более родная, была у меня перебинтована толсто, как стратостат Осоавиахима, а еще напоминала беленую морскую раковину с обитающим в ней рачком-отшельником. Я, никогда не сидевший на лошади, ходил, как кавалерист, объездивший бегемота. И вот представьте: два часа ночи, и московская кольцевая автодорога, совсем юная, вся в белесых березовых перелесках, еще не обжитых тенями сотен погибших водил и минетчиц, и запах цветущих дмитровских лип, не отпускавший меня в ту весну, и красные огни завывающих бензовозов, с низким гудом и лязгом проносящихся мимо, и бешеная луна, и северный ветер, свистящий в траве, и дикий молодой еврей в бушлате ВСО, корчащийся от рези на косогоре, куда он застенчиво забрался в бурьяны по малому делу. Неподходящая - весь в пятнистых петлях бинтов - минута для осознания Завета, но так оно было - и боль, и торжество, и девушки кровавые в глазах, и смех причастия - все как положено.

Сейчас я думаю: кому бы продать эти бесценные воспоминания (можно заверить их у нотариуса), но не задешево, не в роман и тем более не в газету, - а каким-нибудь индонавтам с залетного астероида, - подороже ленинского профиля на луноходе или чеховского "Ich sterbe" после глотка шампанского. Это перво-сортная литература, достойная вечного хранения и растроганных всхлипов, неангажированная, бескорыстная, асоциальная, не философствующая, почти не запятнанная претендующими на поэтичность поллюциями, нигде не тронутая молью подслеповатого юмора, молью, всегда готовой задрать подол перед первым встречным... Это, говоря языком моей „підтоптанной“ юности, отборные экзистенциальные миги, оперенные реактивными *perpetuum mobile* с вертикальным взлетом. Приемисто достигнув скорости вращения Земли, они зависают над излюбленными местечками, точь-в-точь как ястребы в гоголевской, черт вас возьми, степи, „распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву“. И над их владениями никогда не заходит месяц!

Такая себе система СОИ.

Они, эти миги и подобные им в каждой сознающей себя чело-

вечей истории, составляют нетленную сеть и суть бытия. Забудутся самые грязные грехи, смоются преступления - кто помнит зверства Ассирии? - уже забылась (приходится записывать) оголтелая добродетель святых, подернулись мшистой плесенью эпигонства сомнения Пилата, милосердие сильных, щедрость разбойника, великодушие Цезаря, униженные таланты Флавия Иосифа.

Но эта влюбленная дрожь баскетбольного обруча вслед мячу, проскользнувшему внутрь не коснувшись; случайная марка с камейным профилем и надписью "Love" на письме из банка „Тфахот“; озябший воздушный змей, трепещущий над мертвенным взморьем у каменистого таллиннского берега, и следы трех велосипедов на песке (одного трехколесного?); моментальный снимок Тивериады с Горы Блаженств; до сих пор сохранившийся донный рубец фараоновой колесницы под броуновскими трассами красноморских рыбок и... нет-нет, будет, это только реклама, сам товар я надежно припрятал и пока торгую лишь for example, - такую вечность у нас никто никогда не отнимет: она всеобща, но неотчуждаема - не в колхозе все-таки.

Черный, чернее ваксы, прямоугольник открытки со скромной надписью „Монте-Карло ночью“. Шутка. На самом деле ночная Европа (вид сверху) подсвечена огнями, в основном бледной мошкаррой вокруг галактических столиц, и заключена в тригонометрический треугольник с тлеющими багровыми вершинами - это газовые факелы в Северном море, пустыне Сахаре и Саудии.

Вот чужой образец, слегка подпорченный моими хранительными слезами. Хозяин отлучился, попросил присмотреть.

„На них прямо глядели ночные звезды. Они слышали своим ухом весь бесчисленный мир насекомых, наполнявших траву, весь их треск, свист, стрекотанье, - все это звучно раздавалось среди ночи, очищалось в свежем воздухе и убаюкивало дремлющий слух... (Буквы расплылись, нрзбр. - М.В.) Иногда ночное небо в разных местах освещалось дальним заревом от выжигаемого по лугам и рекам сухого тростника, и темная вереница лебедей, летевших на север, вдруг освещалась серебряно-розовым светом, и тогда казалось, что красные платки летали по темному небу“.

Мои суеверия ограничены двумя-тремя законными глупостями: все прочее - бабские забобоны.

Поэтому, когда знакомая наборщица убедительно и не впервой уверяет меня, что если, закрыв глаза, перевернуть чашку, пропавшие вещи найдутся сами собой, я соболезнающе киваю, и она, распалаясь пуще, приводит в свидетели бабушку с того света, эвакуацию, продуктовые карточки, рахит и цингу.

Мне надоедает, и я спрашиваю:

- А чашка должна быть полная или пустая?
- Да ну вас!

„Данувас“ звучит как балтийское имя. Она вот именно из тех мест.

- Может, чем перевертывать чашку, опрокинем стаканчик? - шучу я.

- Да ну вас! - повторяет она, уже смеясь.

Так эта безумная женщина цитирует молодую Офелию.

Через некоторое время у нее пропадает очередная рукопись, и все начинается сызнова.

Вещи теряются то и дело: таков закон их природы. Движенья вещей неподвластны взгляду. Я заметил, что даже столь крупный предмет, как Луна, не остается на месте более получаса. Это можно назвать естественной непоседливостью, а можно иначе. Но латунная отцовская вилка с трехгранным, уплощенным к концу черенком и толстыми сточившимися зубцами, абсолютно негнущаяся и непрактичная, местами облезлая до нового блеска, - вот о чем я мелочно, по-мещански тоскую. Ничего такого она не олицетворяет, никакие воспоминания с ней не связаны, но жаль, что она пропала. Мне от этого почти больно. Не станет меня - никто и не вспомнит. Плюшкин - великий идеалист, и, пожалуй, в кругу неодоушевленных предметов его почитают, как доброе божество.

Пропавшая вещь покидает устроенный людской мир и вступает в иной, космический распорядок. Она обретает другие орбиты и обороты, пронзает другой, не чета уже человечьему, вакуум, у нее вырабатывается привычка к обезлюженному (немцы, воз-

можно, сказали бы: menschenfrei, отнюдь не имея в виду права и свободы) пространству. С каждым часом она остывает, теряет теплую нематериальную оболочку, которую была одета в нашем обществе, и разница, отличающая ее от прежнего статуса, примерно та же, как между собакой и трупом собаки. Или между старой любовью и не знаю чем: все хуже, все второсортнее.

Любопытно было бы не интересанствуя проследить, что происходит с вещами, когда они остаются без нас. Поэты уже высказывали такое желание, но, увлекаясь звуком собственных голосов, всякий раз забывали, о чем шла речь. Я спрашивал археологов, но они со своими находками обращаются слишком чопорно. Бакалавр Фемистокл Синадино считает, что осиротевшие предметы кучкуются, пытаются столкнуться между собой, но где это происходит, в каких катакомбах и полостях местного времени, не знает и он. На каком языке и о чем говорит продавленный стул с рассохшейся бочкой? Видит ли сестру прохуdivшийся рыболовный невод в протекшей „ячеистой кассете для ношения яиц“ (А. Гельман, Т. Калецкая, „Ночная смена“)? В каком тоне - язвительно или с подчеркнутым безразличием - сплетничают они о горных породах? Снятся ли им, что они растения и по весне расцветают и прыскают в какой-нибудь подзаборной Икше? До чего одичала, наверно, моя верная вилка, этот новообретенный позвонок ноосферы!

Вообще свалка - насколько она достоверна как срез истории? Не искажает ли горький дым, облекающий ее, как гору Синай, реальные акценты воплотившегося завета? А смена эпох и стилей - как она сказывается на соседстве пропаж? Не обзывают ли они друг дружку чернобыльскими мутантами?

Хлорвиниловый мешок переживет, говорят, не только меня, своего создателя, но и базальтовую скалу, и звездные катаклизмы. Бесчувственный и безмозглый, он существует значительно дольше, чем нужно для его миссии. Уйдя в отставку, вещи не то чтобы исчезают, а только скрываются с глаз. Вроде пустяк, но в этом и состоит трагедия так называемой материальной культуры. Духовная ценность, строка или опера, вместе с людьми и погибнет. Природа и ее твари безропотно дотянут до самоуничтожения. Но отработавшая вещь, потерявшая пользователя, не Богом рожденная, не

ведущая смерти как события бытия, остолбеневшая от безделья и скуки, - артефакт, способный и намеренный, размножившись, заполнить до окончания дней - *ад ахарит а-яммим* - окружающий Землю космос и там спрессоваться в своей ненужности. Что и трактуется астрономами как черная дыра.

Можно полагать, мы присутствуем при начале этого интересного, надувающего щеки процесса.

Вот почему, я думаю, так страстно, так по-людски ведут себя вещи, не успевшие потеряться всерьез, найденные быстро, без долгих поисков. Посмотрите, до чего навязчиво ластится к пальцам выпавшая из книги старая фотография, как преданно вертится под ногами и виляет хвостом невесть откуда выкатившийся, в пыльных окатышах, клубок шерсти, каким жаром пышет убогая, на семьдесят восемь оборотов, с икающей трещинкой, „Рио-Рита“ из вареной пластмассы. Гроздь ворованных лифчиков в руках бродячей торговки похожа на связку розовых битых кур. На рассвете ночные тени лежат за кустами, словно под каждый кто-то плеснул воды. Еще и поблескивают, этак по Ч., для полной иллюзии.

Я не спрашиваю, обратите внимание, куда исчезают годы и чувства, сила и нежность, вера и слава. Да ну их! Но очень хотелось бы, из чистого любопытства, узнать, куда подевались подшипники моего самоката, так гулко и весело грохотавшие под ливнем вровень с трамваем от Садовой и до Ренийской; что поделяет коллекция марок, о которой я помню только, что ее увел косивший под урку рыжий Дудик, сунув под нос мне грязный, в соплях и веснушках кулак, - впрочем, наутро он откупился мятой книжкой о сцепке товарных составов (она-то, она куда упорхнула? где сейчас машет желтой бумажной листвою со стройными схемами тормозов Матросова?); о чем грезит забытая мной в электричке под Катуаром шапка-ушанка; картонный кукольный театрик, привезенный тароватым дядей Исааком откуда-то из-под лагерноугольной Воркуты, - кому кажет белую ножку твоя Мальвина?

Триста тысяч моих окурков - от Бродвея до Шипки - что с ними стало? Ведь материя не исчезает!

Et multa alia, вэ-холи, вэ-холи.

И уж совсем голова идет кругом, как вспомнишь, что в нашем оголтело крутящемся мире, где даже невидимый солнечный ветер

дует в районе Земли со скоростью 450 километров в секунду, „вечный покой“ есть определение, полярное действительному положению вещей - в любом из смыслов этих последних слов.

РОМАН С ЧАХОТКОЙ

Если модному Александру Мелихову в слякотном Питере позволен неаппетитный „Роман с простатитом“, неужели нам в солнечном Израиле запахло пошутковать с бациллами Коха?

В открытой, прошу вас заметить, форме. „Норки нараспашку!“

Как иной раз случается со студентами, ведущими беспутную жизнь, я в Москве заболел. Это выяснилось после профосмотра. У советской власти других проблем еще не было, и меня мигом водворили в туберкулезный диспансер у Яузских ворот, напротив Подколокольного пер., где старая церковь за железной оградой. До того я жил в Казарменном, рядом, в съемной комнатухе, куда, бывало, заходили дамы, так что на всякий-який после вечерних диспансерных таблеток я, физорг этого лепрозория, вывешивал из окна второго этажа волейбольную сетку, повисал на ней, как орангутан, спрыгивал наземь и бежал домой - до утра.

Однажды прогнившая под дождями сетка лопнула. Я разбил себе голову, сломал руку и вывихнул ногу. Теперь все зажило, и я вспоминаю об этом лишь потому, что в ту ночь не попал домой, зато, кроме подруги, туда заглянул и Лева. Ну, я и на ней не женился.

Когда на следующий день, слегка, но не очень смущенные, они пришли в больницу и увидели меня на костылях и в гипсе, мой друг - а он иногда бывал не совсем свинюгой - сурово сказал:

- Так ты скоро и вовсе сдохнешь, а мне тебя хоронить не с руки. - Он покосился на свою спутницу и, вздохнув, погладил ее по роскошным русским коленям с ямочками. - Уезжай-ка лучше домой, на родину.

На родине, в новой больнице, его прогноз подтвердился. В виде альтернативы мне предложили лечь на стол, под хирургический нож. Я попросил сутки на размышление.

Болезнь было счастьем (кормили!) и совершенно не больно. Болезнь только подкрепляла в моих глазах образ поэта. Поэтом был я.

Я болел, как мечталось, самой романтической в мире чахоткой. Как Добролюбов и Чернышевский. Как Маркс и Энгельс. Как Рембо и Верлен. Остальные были простые смертные тубики. Мне же предстояло умереть поэтом, многообещающим автором пары десятков темпераментных стихотворений и одной оригинальной поэмы. В ней был огонь, било пламя, была судьба.

Как видите, я не умер - и совершенно напрасно. Теперь все равно скоро, но уже не поэтом, а кем или чем - даже думать гадко.

Я начал сочинять стихи о любви, но меня отвлекли. В одной из перенаселенных женских палат добирала свою короткую жизнь деревенская девушка, не помню, может быть Анна. Глаза черные, жгучие. Хорошенькая, слегка топорная, чуть угловатая, как я люблю. Райские блаженства, должно быть, доставит. Мне сказали, что она малость двинутая и все понимает в прямом смысле, но я тогда не боялся ни сна ни чоха и стал клеиться к ней.

В той республике многие сельские жители заражены палочкой имени Коха. Их лечат, и они выздоравливают. Но это был запущенный случай - оперировать поздно, закармливали хворь ПАСКом и фтивазидом, выпаивали кислородом. Ночью она бродила по коридорам, терлась о стены и будоражила спящих классическим кашлем - надрывным пыхом тракторного движка. Что-то есть про это у Пушкина, жутко устарелое:

Могильной пропасти она не слышит зева,
Играет на лице еще багровый цвет...

Не багровый - карминно-алый на скулах, а щеки матовые, бледные, взор горящий, жаркий, и все это - ожидание. Звон склянок с мокротой.

Спел что-то шуточное народное. Позвал в кино. Она спросила, в столовой сидели, при всех: „А ты меня любишь?“ Нашли гражданский одяг. Ворота охранялись, но рядом в заборе дыра. Что смотрели? Главное, свет погас, она тут же сунула мне под локоть

руку, и я содрогнулся, потому что ее прямая жесткая ладонь была совершенно мокрой, в холодном поту. Я осторожно целовал запястье, поддувая, трогал губами сырой завиток на щеке, на ужин махнули рукой, пошли на задворки, на соловьиный пароль в темноту. Шастали кошки. От реки несло свежей вонью. Я часто отнимал руку закурить и незаметно - ширк-ширк - вытирал ее о брюки. Она снова брала ее и грубо стискивала, обливая своей испариной. Погладил по затылку - тоже мокрый, как после душа. Состукиваясь зубами, стали целоваться в губы.

На следующее утро я отказался от операции, дал расписку, что не имею претензий к медицине, и, собрав свои книжки, свалил.

Я начал много курить, и дым от меня валил, как из трубы заправской котельной, которую топят жирной соляжкой. Пил дешевое, терпкое, лучшее в мире сухое вино. Читал, жарился на солнце, задремывал на сочной травке между могил на соседнем кладбище, в глаза падала с дерева шелковица, безуспешно цеплялся к девкам, снова читал. По ночам ныла переломанная рука, желание сводило с ума, хоть в подушку. Я стремительно выздоравливал, не зная, следует ли этому радоваться. Стихи не писались.

Где-то через месяц пришла открытка со штампом: требовали в диспансер на проверку. Уклонение грозило милицией и приводом.

Врач - помню белое пятно и что ему нравились мои стихи, - когда я похаркал куда следует, хмуро спросил:

- Ты знал такую-то?

Я со значением заулыбался:

- Разочек в кино сходили, а что?

- Ничего. Что ты наговорил ей?

- Ля-ля. Почему вы спрашиваете?

- Она всем тут расписывала, что ты заберешь ее отсюда и вот-вот женишься. Что каждый день пишешь письма. Что вы подали заявление в загс. А? Ничего такого не было?

- Вы смеетесь, что ли?! Где она?

- Не красней, сиди, я тебе верю. Видишь ли, она истерику закатила, об кровать билась, и мы ее отправили в Костюжены. (Название психбольницы.) А в тумбочке - вот конверт для тебя.

- Для меня? Интересно... А как же такую больную? Или ей лучше?

- Ей хуже, совсем плохо. Но там тоже хоронят. Здесь она всех задолбала. Искала твой адрес, я не дал. И знай на будущее: бурные чувства плохо влияют на больных ТБЦ. Им нельзя волноваться.

Ясное дело, если кто-то еще питает иллюзии насчет моей совести, я никуда не ходил. Чтобы не обострять. Чтобы не из-за меня, а сама. Как собака. В конце концов, кто мы друг другу? Имейте в виду, я ненавижу влажные руки.

В конверте была записка. Большими корявыми буквами, на тамошнем языке, с ошибками: „Дорогой Мики, я тоже тебя лублу“.

А прийти она не просила. Чего же ходить?

ВСЕ ПУТЕМ

Меня осенило: потолок белый, море синее, волна пахнет хлоркой! Еще недавно я искренне считал себя абсолютным интернационалистом, и вдруг - точно обухом по голове: идея национальной исключительности всегда прекрасно уживалась во мне с чуточку снисходительной готовностью обнять миллионы кого угодно.

А кого?

К инопланетянам я, по совести, не расположен, разве что к дамскому полу.

К иноземцам? Ничего в принципе не имея против эскимосов, я все же вряд ли так бы уж бурно ликовал, если бы моей кухне вдруг захотилось поселиться со своим оленебойцем в тундре и жрать вонючую морженину.

Почти такой же пылкий - в принципе! - друг папуасов, как Миклухо-Маклай с его новогвинейской фамилией, я все же был бы слегка фраппирован, если бы, выйдя замуж за папуаса, другая моя кухня явилась к нам в дом на чай с элегантным двухсотграммовым кольцом в своем висячем, как слива, национально беспорочном носу.

Таков, Фелица, я развратен! Такой вот разлитый в лимфатической моей системе подсурдиночный расизм, неагрессивный, но позволяющий держать марку, вроде резинки в трусах.

Национальная исключительность евреев представлялась мне

прежде как сумма нескольких стереотипов со знаком „не“. Евреи в общем и целом не пьют, а если уж блюют, то никому не под ноги. Евреи в общем и целом не драчуны, не экстремисты, не жестоки, ни к кому не враждебны. Их трудно представить себе хладнокровными убийцами, и даже в глазах самого мерзкого бюрократа-еврея всегда блестит циничная искорка насмешки над своей непристойной ролью: он знает, что это не всерьез.

Образ еврея-десантника с ножом в ширинке, принесенный ветром из далекого Израиля, чем-то радовал, но и немножко шокировал, впрочем не больше, чем фигура еврея-дворника, скачущего на метле по колокольной столице.

Теперь я понимаю, что национальная исключительность идеально тут совпадала с личной. Еврей - это был я. Все его „не“ были моими, можно сказать, персональными плюсами.

Теперь я понимаю, что меня вообще удивляет, когда люди любого цвета поступают не так, как поступил бы я, - такой иногда хороший, такой высокоморальный, такой по вдохновению секс-гигант, такой неизменно умница и обаяха, так тщательно и успешно скрывающий то, чего следует стыдиться. Только банк „Тфахот“ видит меня насквозь.

Вот и евреи все такие.

Эта пастораль оказалась не столь безмятежной. Она, больно признаться, на склоне лет привела к тому, что иногда мне не хочется быть евреем.

И даже я предпочел бы поплевать.

Я еще не дошел до градуса, когда идею национальной общности считают заведомо ложной, но я уже определенно не уверен, что она вообще означает что-то.

Я почти точно знаю (будто меня кто спрашивает!), что не хотел бы родиться чукчей, зулусом, персом, палестинским арабом, русским пьяницей или немецким неонацистом. Но клясться, что нет почетнее доли, чем быть евреем, в частности евреем израильским, я бы тоже не стал.

По инерции жизни - по чисто еврейскому обыкновению жить - я еще верю, что мне повезло с Авраамом, но когда кое-кто вслух рассказывает, в чем именно, - я прихожу в ужас: во что же я влип?!

Те, кто хуже меня, не обязательно неевреи, а что касается девушек, то спрашивать у хорошенькой профурсетки паспорт, согласитесь, было бы неучтиво. Здесь мой интернационализм доходит до дистиллированности – так и прыщит.

Наверное, я без особых колебаний пошел бы в итальянцы или даже швейцарцы, а еще лучше – в стоматологи или часовщики.

В проклятом городе, где я жил когда-то, стояла на площади триумфальная арка с большими, в человеческий рост, золочеными часами и звонким тяжелым колоколом. Семнадцатилетний юнец, я целых два месяца заведовал муниципальным временем. Это значит, что каждый день, в полдень без десяти минут, я отпирал бронзовым ключом железную дверцу, поднимался по винтовой лестнице в подсобку, накручивал механизм здоровенной заводной ручкой, вроде как от ЗИСа-трехтонки, а ровно в двенадцать брался за веревку и, после четырех курантных перезвонов, отвешивал дюжину ударов увесистым языком фрейдистской формы в отзывчивый гулкий чугун. Это была достойная лингвиста работа – железный интим – шестьдесят шесть рублей чистоганом. После каждого удара звуковая волна прижимала меня к стене и, миновав полукруглый ампириный пролет, медленно осыпалась на липы в соборном парке. Что ни говорите, даже под слово „родина“ всегда можно подыскать что-нибудь непохабное.

Не помню, за что меня уволили. Скорее всего, как подобает еврею в диаспоре, я перестарался, сбился со счета и врезал по колоколу пару раз лишних. Факт тот, что в Израиле я чувствую себя совершенно как дома, по-прежнему работаю языком и, наученный горьким опытом, стараюсь не обсчитаться. Как тогда, в далекие зыкинские семнадцать, я грежу о великой любви всех ко всем и особенно ко мне и, надевая по утрам зубные протезы, хочу, чтобы все на свете, даже неподсудные израильские министры, были такие, как я, или, в крайнем случае, немножко лучше: кроткие, терпимые, некорыстолюбивые, кудрявые, остроумные, с безнадежно здоровой психикой.

Я недалек от того, чтобы объявить себя если не расой, то нацией, претендующей на свою долю богоносной исключительности, на невмешательство в мои внутренние дела, на собственную территорию, флаг, парламент, армию, систему образования

и воспитания, религию, культуру, прессу, традицию, телевидение, музеи, библиотеку, зоопарк, водные ресурсы, полезные ископаемые, враждебное окружение, пограничные конфликты и кресло в ООН. Кое-что из перечисленного у меня уже есть, но в интересах государственной безопасности я вам не открою, что именно. Прошу обратить внимание, что, в отличие от Г-ва Израиль, нет такого мира, ради которого я пожертвовал бы хоть дюймоном своей территории, но, в отличие от Российской Ф., нет и такой территории, ради которой я нарушил бы мир. Лет десять назад я уже объявил свою квартиру (обе комнаты и прихожую) безъядерной зоной, о чем иногда сожалею. А в остальном все как у людей - народец не хуже других, страна как страна, *арец* как *арец*.

ТАКИЕ ДЕЛА

Умерли почти одновременно Булат Окуджава и Евгений Лебедев - версификатор и артист. Оба - любимцы по крайней мере одного поколения, один - символ теплого неангажированного дилетанства, другой - воплощение блистательного, хотя и чуть отстраненного профессионализма.

С поэзией в России после войны стало совсем плохо, поэтому человек, который позволял себе, глядя прямо в совиные глаза вездесущей власти, с отсутствующим видом рифмовать короля и муравья, подбренькивая обоим на свободолюбивой гитаре, вызывал восхищение как истинный поэт и скромный, но несгибаемый вольнодумец галерки.

Что касается артистов, то равняться с русскими могут порой только американцы, и Лебедев был из этих - образцовых. Очень национальный, беспредельно умелый, он продуцировал смех, любовь и милосердие, как виртуозный стеклянный станок, в духоте и лязге производящий зефир и бeze - свежесть и поцелуи.

Светлая память обоим.

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

...И хотя внутри у меня все горит, я, в отличие от двигателя внутреннего сгорания, существо абсолютно бестактное - весь вразнос, вразной. Благородная уступчивость или хотя бы гибкое самообладание, эти дефицитнейшие ГСМ, ровно пылающие в человеческих атомных котлах, оказались не по карману. Сегодня поставьте нас рядом, распните на стендах, и даже „виллис“ времен высадки американцев в Сицилии, младший мой сверстник, дребезжащий, ржавый, с мятыми вздрочь ободьями, крехцающей выхлопной трубой и протекающим масло-проводом, показался бы чудом гармонии. Из моих отверстий сочится еще более мерзкая жижа, под клапанами клубится дымная мгла, обоняя цветы, я дышу на них стронцием или, зачем так красиво, попросту распаренным сырым мясом, - и при всем том еще рассуждаю и высказываюсь.

Отвращение к жизни: хотел бы я знать, какая доля неподкупного сего чувства приходится на разрастающуюся во мне ядовитость, а какая, говоря по-марксистски, отражает объективную реальность, данную нам в ощущениях. В конечном счете совершенно не важно, впрямь ли жизнь так гнусна или я сам до того огадился, что и белый свет мне уже не мил. Понять можно: что на входе, то и на выходе. И все-таки любопытно: неужели все это натворил я, Микки Вульф?

И если да - почему мне всех жалко, а себя нет?

Стоит прикинуть: в год, когда я родился, укоренились и пошли в рост мириады древесных семян, оценились сотни тысяч собак и волчиц, окотились миллионы овец и кошек, отелились коровы, олени, ламы, опоросились дикие и домашние свиньи и, что ли, бурундуки (они поросются?); рыбы выметали несметное множество икринок; черепахи, куры, гадюки и страусы наклали черт-те сколько яиц - и т.д., и е.ж., и з.и. Это был, можно сказать, глобальный родильный дом. Что только не цвело под мой младенческий лепет - какие травы выгоняли, какие маки! Что за дивные синие водоросли кочевали в желтом Саргассовом море, овевая красные рифы, - чей флаг? Какие аккуратненькие пингвинчики катались на айсбергах в море Литке!

И вот прошло чуть больше полвека, и я оглядываюсь окрест и чувствую себя каким-то всех наджившим Мафусаилом. Я бреду под мусорным ветром в перенаселенной радиоактивной пустыне, весь в парше лишений, ежечасно теряя бесчисленных сестер и братьев. Из моих ровесников на Земле не осталось ни одной собаки и кошки, ни одной лошади, даже самой умной и быстрой. Аксакала не обсакала, саксаула не об... сами рифмуйте! Овцы съедены, травы скошены, виноградники выбиты, страусы улетели, рыбы забыли как их звать. Лишь ковыляют по горбатым ковыльным холмам кольчужные черепахи, на столетних дубах каркают надтреснутыми басами трехсотлетние вóроны, пара слонов отряхивает с плащевидных ушей (в каждое бы по Христу по младенцу) вековую пыль - боже мой, какая безотрадная местность, какое, не чета синайскому, одиночество! Встретишь зайчика - малыш, молоко-сос! Встретишь верблюда - потолковать бы со старцем начистоту... нет, только плюнешь с досады.

Что касается ангелов, то недавно меня пригласили на один полусветский прием, и прямо скажу: я устал удивляться, что бывает кто-то моложе меня, - все равно ничего не обломится; гораздо страннее, что кто-то бывает старше - а хоть бы хны, по-прежнему рожицы строит. В глубокой печали, сдерживая вскипавшие слезы, смотрел я на них, на себя, на род человеческий, на эту неугомонную массу лиц, шей, брюх, спин, ягодиц, лодыжек, на эти иррациональные мешки, набитые кишками, плавающими в сале, местами кашерном. Все это напоминало кольцо Сатурна, где камни, скалы и щебень движутся с разными скоростями, друг на друга наскакивая, чиркая по торцам и карнизам, дробя и ломая поверхности. Видел я знаменитейшего писателя, в сединах и перхоти кумира двух поколений своих современников, в таких мятых брюках, пиджаке и галстукe, словно он не бесконтактное толстовство проповедует вот уж лет сорок, а только что вышел из массажного кабинета, где его пропустили сквозь центрифугу. Видел знакомого еврея, дельца, не то литератора, лет сто не встречались. Как живешь, друже, спрашивает он, улыбаясь с приветливым равнодушием, и дуже взяла меня тоска, что я не отравил его еще в юности: надо же было допереть до третьего тысячелетия такое мерзкое слово! Видел еще одного, тех же лет, который и вовсе

меня не узнал, и правильно сделал. Видел, почти прикрыв глаза, как они жрали халявные сэндвичи, хлебали толстыми хлебалами терпкое пиво, как, не оглянувшись, били друг друга щеками задом (цитата, Лева, цитата!), пробираясь к фуршетным усадям своего симпозиума для нищих. Видел багровые от восторга скулы сапожника, приобшившегося на пять минут к райскому щебетанью политиканов, писарскую трусцу репортера, лягавую стойку лакея, тонкие пальцы артиста, самозабвенно перебиравшего по волоску свои длинные локоны, необыкновенной величины и розовости железные бока бизнесмена и - кроенные по спецзаказу тундровых идолов - хари телохранителей... У всех, буквально у каждого свисало с загривка по паре крыл, кишевших, что правда, блохами и другими небесными паразитами. Крылья были марлевые, с клейкими перьями, натянутые на гнутую проволоку, как в детстве на елке. Они поскрежетывали, шебуршили, вздрагивали, не разом, а каждое в отдельности, словно сводила их судорога, и тихий бескрылый горбач, похожий в профиль на букву „эф“, с герпесными губами, обведенными хумусом, украдкой трогал обводы их пальчиками, которые тут же бережно целовал, как после прикосновения к *мезузе*, и низводил очи долу, точно творил что-то стыдное. В этом гомоне, чавканье, посвистывании прокуренных бронхов, в щелчках портативных раций и нудном зудении неона - в этой суете сует я, сирота сирот, встал на колени и сказал:

- Смажьте меня автолом!
- Заправьте меня соляжкой!
- Залейте меня минеральными эдемскими водами!
- Опустите мне веки!

Ибо я изнемогаю от любви.

ДРУГИЕ БЕРЕГА

За пазухой бюста советской власти мы жили - никакой Апулей тех блаженств не опишет. Матушка моя лет тридцать ходила, стояла, сидела и лежала в очереди на квартиру индивидуального фасона, пока ей не сунули, для отвязки, персонально-музыкаль-

ную скворешню с виноградом над форточкой. Мать съехала, и тут уж я с женой и детьми растопырился на воле под старой крышей: две комнаты в кардиографическом орнаменте трещин после двух потрясающих землетрясений, между ними коридор с многоуважаемым шкафом - и кухня, она же столовая и моечная, котельная и прачечная, сортир и кладовка. И это все - на четыре голосистые души, а по субботам ехали на другой конец города и у матери в ванной устраивали морские заплывы и большую стирку. Любили, видать, родину, если не вешались.

Сортиром пользовались как?

Сортиром пользовались так.

Мирное население с гиканьем и свистом изгонялось вон, огонь на газовой плите уменьшали во избежание взрыва, воду, когда она шла, пускали вовсю, чтобы громче гремела об раковину, накидывали крючок на дверь в коридор, растягивали застенчивую ситчиковую завеску между магистральной трубой и вешалкой со старыми польтами и брали в руки какого-нибудь Рильке, чтобы жизнь глаза не мозолила.

Мне-то, как заскорузлomu романтику, было почти все равно. Но посторонние воротили носы. И, помню, председатель писательской жилкомиссии, большой человеколюб и скотина, в шутку называвший меня Вервильфом, на хрен потерял, бегло обзрев топ герос, свой изысканный юмор, и сказал: „Однако! В таком клоповнике жить нельзя!“

Это мы и без него знали.

А тут еще крыса.

Не вижу причин, чтобы о ней не рассказать. В конце концов, я вел себя как мужчина. Как истый цыган.

И совсем не уверен, что тот же Байрон или там Шиллер на пару с Гете сохранили бы при таком камуфлете свое двоящееся лицо.

Признаюсь, я тоже еще потерпел бы, но когда эта наглая тварь стала, как собака, стучать когтями по гнилому линолеуму, и не в полнолуние, а среди бела дня, во время обеда, шмыгая носом, шатко путаясь у нас под ногами и лениво отскакивая от моих неприцельных пинков (я старался не попасть); когда она, встав столбиком, начала обнюхивать болтавшиеся в воздухе пальчики

на ногах моей дочки; когда мой несмышленный сын попытался поднять ее с полу за хвост и я едва успел врезать ей ложкой по оскаленной морде... короче, как во всех счастливых семьях, мне предложили выбор: „Или я, или она!“

Мальбрук в поход собрался,
Malbrough s'en va-t-en guerre,
Бог весть когда вернется,
Dieu sait quand reviendra...

Ни в какие крысоловки она, разумеется, не шла. Ядов мы боялись, как будто жили при дворе Александра Борджиа. Соседская кошка, которую я притащил в дом, понюхала воздух и стала тоскливо оглядываться на дверь. Увидев нашу постоянщицу, с живым интересом выглянувшую из подпола, киска моментально вскочила на котел, обожглась и переметнулась на вешалку. Пришлось отпаивать ее валерьянкой. Попытки забить камнями дыру под деревянным порогом кончались тем, что через час по соседству появлялась новая, исключительно аккуратно вырезанная арка в магнитных стрелках опилок. Поскольку я был смел, но брезглив, оставалось прибегнуть к огнестрельному оружию.

Мой приятель-программист (кажется, в этом веке все, кроме меня, программисты) был в порядке общественной нагрузки физ-оргом вычислительного центра и в этом качестве держал на работе под замком три духовые винтовки. „Тебе какую - по центру? под обрез?“ - спросил он с великолепным гостеприимством. Мимо вахтера я пронес свою избавительницу в чертежном тубусе. Десяток цинковых пулек думал взять под язык, но потом сообразил, что можно положить их в карман.

Для удали я еще выпил пива, купленного по блату в буфете у программистов.

Заряженная винтовка лежала наготове, и когда крыса пустилась в очередной обеденный обход, я осторожно приложил приклад к плечу, поймал цель на мушку и плавно, как учили в армии, повел на себя курок. Дети, готовые взвизгнуть, следили за мной, разинув рты от восторга. Жена предусмотрительно хлопнула дверью, сказав, что таких идиотов еще поискать. Поискав и,

видимо, не найдя, она заглянула в кухню и спросила: „Ну как?“

Лично я был уверен, что попал. Крыса, кажется, моей уверенности не разделяла. Но, во всяком случае, я ее удивил, и она, несколько раз обернувшись и пристально оглядев меня с головы до ног, неторопливой трусцой удалилась в свое подземелье.

- Теперь ее надо добить, - храбро сказал я.

Проблема состояла в том, что я не успел перезарядить монте-кристо. Можно было взять у приятеля не одну, а две винтовки, но кто бы поднес мне вторую, когда я выпалил из первой?

Ах, разум, даже такой, как мой, преодолевает все трудности. Коль скоро я не могу действовать быстрее, значит, надо придержать крысу. Вечером она взяла отгул, но на следующий день как ни в чем не бывало явилась снова. Дав ей отойти от лаза подальше, я затолкал в него заготовленные заранее скомканные тряпки, после чего решительно подхватил оружие. Ви димо, пулька причинила ей боль: она пронзительно, как скворец, пискнула и кинулась к своей дыре. Тряпки не пускали; тогда она принялась молниеносно разгребать их передними лапками, как фокстерьер, пытающийся достать из норы сурка. На этот раз я успел и, подойдя ближе, стрельнул снова, почти в упор. Она все же прорвалась в дыру и больше не приходила никогда. Я и вообще стреляю недурно, хоть фотографа позовите. Мне много лет снилось, что я спускаюсь с МОЕЙ ЛЮБИМОЙ в пустое полуподвальное стрельбище и сажаю по мишеням из винтовки, словно из пистолета, навскидку, держа ее в вытянутой руке. Мельницы крутятся, зверюшки опрокидываются, самолеты пикируют, пистоны ахают, вислопузные геринги валяются навзничь... Мое первое взрослое стихотворение так и называлось - „Тир“. Было там что-то вроде Володи:

Фашисты, голуби, зверье -
Жестянки бредят вечной жизнью,
Конь осыпает краску на пол,
Полумертвец встает с колен... -

и тра-та-та, тра-та-та в том же духе. А пульки МОЯ ЛЮБИМАЯ держит горсткою на ладони, и я, глядя на нее в упор двустволкой очес, одну за другой слизываю их языком. Эротика, бля!

Деньги есть у тех, кто их достоин. Особенно доллары или марки. У кого денег мало, тот, значит, мало старается. Если бы, например, я трудился больше в арифметической прогрессии, деньги прибавлялись бы в геометрической. А если бы пахал по экспоненте - тут уж не напасешься карманов.

С другой стороны, если бы у меня было немножко больше денег, я бы работал немножко меньше. Но я, похоже, уже работаю меньше, а денег не прибавляется. И есть такое предчувствие, что если я перестану работать, их вовсе не будет. А поскольку я все же пока работаю, то их у меня меньше, чем если бы я работал больше, но больше, чем если бы я не работал совсем.

Зависит. Все зависит.

Если бы я не работал совсем, это значило бы, что деньги у меня уже есть. То есть я их как бы уже достоин и не желаю унижать их работой. Работают только дураки, у которых совсем нет стыда, зато есть наглость желать больше денег, чем у них было бы, если бы они работали меньше, но меньше, чем если бы деньги у них уже были.

А еще они играют то в „Тото“, то в „Лото“.

Может быть, имея сколько-то денег, я, как маэстро, работал бы от скуки, ради своих идеальных грез или чьих-то прекрасных глаз. Но тут непременно кто-то стал бы навязываться ко мне с деньгами, я гордо плюнул бы ему в морду, он подал бы в суд, и, чтобы набрать потом на судебные издержки, мне пришлось бы идти и работать всерьез.

Получается такая политэкономия, что независимо от того, есть у меня деньги или нет, мне и дальше придется работать всю жизнь и, хочешь не хочешь, больше, чем меньше или совсем. Правда, на круг это все равно значительно меньше по сравнению с тем, сколько я не работал до своего рождения, и уж просто суший пустяк, если подумать, сколько я буду не работать после смерти. А если сложить до и после и с их высоты посмотреть на мое растущее пузо, под чертой выйдет *dolce far niente*, причем *sub specie aeterni* - тотальное безделье под знаком вечности. „Мы

отдохнем, дядя Ваня!“ - это железно, это сказано мне и про меня.

Тут, правда, возникает проблема небытия: одно из двух - или работай, или перебирай печенье в *gequiem perpetua*.

Жить вечно, кажется, не проханже.

В общем и целом я не против еще поошиваться на этой планете. Но есть три, по крайней мере, причины слить воду. Первая тем не менее та, что все мне осточертели. Как говорил синьор Помидор, я себя ненавижу, а вас не вижу. Или огурец в зеленых крокодильих пупырышках. Никаким словом не передать, жестом не выразить чудовищную прозрачность вашего эпителия. У классиков кто-то не совался на улицу, потому что там много людей и все под одеждой голые. А под кожей? Возьмите анатомический атлас и полюбуйте на себя. Особенно на пищеводительный, видите ли, тракт, на селезенку вашу екающую или икающую.

И мысли! Эти яйца на подпорках, эта интеллектуальная лимфоплазма, слюнки на шарнире! Эта мне ваша, прости господи, ноосфера!

Что Дуду Топаз мало похож на Гегеля или Геллера, а разве что, если встанет на цырлы, на Топаллера, - это скорее физиогномический феномен. Но что я перебил все зеркала в своем доме, а сейчас с той же целью набиваюсь к соседям, - тут фактор почти геологический.

Нет - скорее на небеса! В прохладные Карпаты, к форелям и соснам.

Вторая причина та, что я в последнее время отяжелел. Биолога восхищат муравей, который тащит собачью кость, в сто, а то и в тысячу раз превосходящую его массу. Дистрофик! Давайте-ка прикинем, начиная с груза разочарований, сколько чего тащу я. Вы думаете, в юности, когда девушка не дает, это проходит даром, не выпадает в осадок на кровеносных путях? А когда дает - оно вам как, ноль на палочке? „Положись на меня“, - я не советовал бы молодым хорошеньким особам произносить эту фразу в обществе здоровых мужчин. Трагедия жизни полна трогательных вставных номеров.

А детство - эта поистине шекспировская драма отнятия от груди, гамлетовские терзания на горшке, боль вставания в кол-

лектив и вырастания из младшей в среднюю группу. И, считай, повезло, если в ней не останешься навсегда.

Глупо всерьез говорить о серьезном. Все глупо. Не рыдай мене, мати. Мы обрастаем прошлым, как летящая стрела пылью, и кончаем кладбищем лишь потому, что сами - ходячий склад падали. Нас вгоняет в землю вес изжитого.

Сведения мы носим в себе, как съеденное, и храним то, что следует хоронить. Хронический запор мозга. Отнимите у меня мою простоту, всего лишь, - и я стану наполовину легче. Распустите звенящую кольчугу навязанных телефонных номеров - плечи расправятся и ноги побегут веселее. А мои дипломы со вкладышами (еще одно непечатное слово!) - всем тяжелым во мне я обязан книгам.

Я уверен, что если бы, когда придет время, с меня стащили одну за другой все оболочки - всех восьмерых на сегодняшний день Вульфов Микки, мал мала меньше, натянутых друг на друга, как кондом на матрешку; все мои, сказать по-умному, социальные роли; всех баб, висящих на мне, как раззолоченные елочные орехи и звезды; все мои прыжки и ужимки, уловки и умствованья, притворства и жалобы, ходки, находки и выходки... вообще все, что считается мною, - остался бы, кристаллизуясь из пустоты, как человек-невидимка, маленький мальчик лет под шестьдесят, рахит-кривоножка, родившийся под бухарским солнцем, еврейский детеныш со сморщенным от авитаминоза мартышьям личиком и глазами-блюдцами, как у собаки из андерсеновской сказки. Жалкое, скажу я вам, зрелище, но все же более достойное, чем ныне.

Освобожденный, свободный, вольный, никакими не связанный путами, под рассеянным взором толстого человечества, он всплыл бы над каменной вышивкой погоста тихим воздушным шариком и, уменьшаясь, понесся в синее небо.

А третья причина - это безденежье. *Tertium non datur* - третьего не дано, как Евклид или кто там сказал про бабки.

МЫЛЬНЫЕ ПРУТЬЯ

Убей не пойму, как можно называть размножением процесс, когда из двух получается одно. У микробов арифметика проще: хрусть - пополам! Поел, попил лимфушки: хрусть - пополам. Не прошло и полсуток - вот тебе, брат, мировое господство, вот бразды правления, океаны, горы, небо - все до кучи. Царюй!

Кстати о статистике. Один мой знакомый поэт (глупая, скажу я вам, шатия) подсчитал публично, - и напечатал! - сколько евреев населяли бы нынче Землю, если бы размножались тихо. Сумасшедшая вышла цифра. Но возникает вопрос в духе предвыборной кампании Бога: хорошо ли это было бы для евреев? Судя по нашей грядке - не очень.

Теперь опять возьмем одноклеточных - прокариотов и зукариотов, именуемых свысока простейшими. Вот кому везде хорошо и не тесно. Чтобы тесно не было, объем интеллекта, включая дальность полета мыслей, не должен превышать объем клетки. Сравните застенчивую ресничную инфузорию и грубого тигра: ей и на предметном стекле дышится вольно - ему и в вольере кажется узко.

Родителей не выбирают, и мы, мхи, люди и прочие, рождаемся уже многоклеточными. Средний новорожденный младенец состоит из двух триллионов клеток - двойка и шесть пар нулей. За что ни возьмись - нервные, кровяные, эпителиальные, половые, мышечные, секреторные, клетки сетчатки, клетки плазмы, грудная, черт ее подери, яйцо страуса, тетрадка в клеточку! „В природе разложение целлюлозы (клетчатки) осуществляют организмы, имеющие целлюлазу“. Роптать грешно, остается приспособливаться.

Например, клетку для попугая можно было бы, проявив присущую людям смекалку, так приспособить, чтобы она не мешала ему, не покидая жердочки, ширять в поднебесье, а если с размножением возникают проблемы - прутья намылить.

Намылив, снимают ставшие тесными кольца с растолстевших или опухших пальцев. Для этого нужно продеть под кольцо намыленную же суровую нитку и, крепко взяв ее за концы, вести

винтом по фалангам. Главное - перевалить сустав, дальнейшее трудности не представляет.

Так должны поступать все многоклеточные, стремящиеся осознать пределы своей свободы.

При этом следует помнить, что прутья клеток бывают невидимы и в таких случаях чаще носят названия отвлеченные - „совесть“, „закон“, „старость“, „потенциал“, „вакуум“, „смерть“, „полиция“, „пуля“, „чума“ - или не называются никак, вроде полос на боках того же тигра.

Вообще жизнь человеческую я уподобил бы мылу московской фабрики „Свобода“. Впервые вынутое из разорванной упаковки, оно издает приятный клубничный аромат и радует взор бликующим розовым цветом, элегантно обтекаемой формой, эластичным телесным холодком, нежно крошащимся заусенцем. Все это не вечно. Помоешься раз-другой, ну десять раз, - оно все еще пахнет, хотя уже не так маняще, и сохраняет овальные контуры. Первой смывается буква „б“, находящаяся на крайней точке малой оси эллипсоида, потом соседние „о“, левое или правое, и все слово теряет небесный смысл, зато обретает практическую солидность - „сода“? „вода“? Проходит еще несколько моек, и в самых чистоплотных руках, и даже особенно в них, мыло нечувствительно превращается в обмылок, с неопрятно впилившимися в него волосками, с белесой плесенкой на обесформленных склонах, да и запах - тот еще запах, точно от молодой медузы Горгоны с клубничной маской на ужасном лице под зелеными бигудями...

Пора, пора! Помню, по-естествоиспытательски потешаясь, я такой обмылок брезгливым кончиком пальца пропихивал в клетчатое отверстие раковины и, пустив воду сильной струей, смывал его навсегда. Прощай!

Но это не все.

Во время войны, говорят, находились мастаки, что обмылки собирали и, скудно намочив, скатывали по несколько штук в бильярдных размеров шарики, подсушивали и продавали для нового пользования.

При всей негигиеничности таких изысков тут можно говорить о предприимчивом гуманизме. Я не видел, но слышал, что в отсутствие мыла домашние хозяйки использовали золу. О сего-

дняшнем изобилии моющих средств мечтать в ту пору не приходилось.

Дегтярное мыло выводило вшей. В Красной Армии восьмушку хозяйственного мыла выдавали одноразово для баньки и стирки. Тем же ножом в каптерке резали сало. В бухарестском отеле "Ambasador" в 1983 году я впервые увидел изящные маленькие мыльца с рифленным верхом и, сэкономив на отечественном таких штук семь, дарил их потом секретаршам московских издательств как сувениры.

Полвека назад молодые киббуцники дразнили „мылом“ выживших в Катастрофе. Называть их „золотой“ они не догадывались.

В свое время на окружной гауптвахте в Нижних Котлах (нет, это не цитата из Данте), в истомном ожидании суда, я приспособился днем спать на табуретке - лежа. Койку до отбоя приковывали к стене. Если бы я умел, стоило бы нарисовать эту позу. Но я не умею. Тут важно, во-первых, точно найти центр тяжести и потом не бросаться во сне; во-вторых, захватить согнутым пальцем, проведя между ножками (и обвив их) руку, плечо которой функционирует как подушка, свисающий с другого конца носок сапога, прижимающего голенищем, чтобы не болталась, другую ногу, подтянутую под живот в его наиболее мягком месте; в-третьих, спать чутко, чтобы поверяющий, подкрадываясь по коридору к глазку, застал тебя уже бодро сидящим в позе мыслителя - классическое телоположение заключенных - и ни в коем разе не прислонившимся к стене. Если же сидеть посередине камеры по уставу, выпрямив спину и молодежато подбоченясь, до боковых стен остается по три-пять сантиметров. Чтобы не скучать, я приноровился, раскачиваясь, как метроном, легко ударяться соответствующими локтями то в правую, то в левую стену и вскоре протоптал в раскрошившейся штукатурке круглые углубления, подкрашенные кровью из моих в бой растертых сосудов. Чувство локтя. Потом старшина Сыч велел мне эти выемки затереть цементным раствором. Гимнастерку я выстирал, воротничок - из обрывка простыни - подшил новый. Разбитые локти зажили сами.

Милая картинка малахольного детства: мама мыла раму мылом.

Когда на Русь (фи, какое начало!) в каком-то ...надцатом веке пришел из Персии первый верблюд с четырьмя тюками шелка и двумя мешками душистых курений, завяли, я слышал, двужильные лопухи у заставы, а стрельцы, говорят, побросав бердыши, пали ничком в дорожную пыль и взмолились:

- Матушка загогулина! Обойди Тамбов, поверни на Пензу!

Посмотрите, как география и язык почти машинально предписывают манеру. Считайте, что я этого не писал. Вернее - писал не я.

Мы прилетели сюда, в Израиль, при русских глазах, и фиолетовое, на полгода, цветение джакаранды (или бугенвиллии?) не устает поражать непримиримый наш взор задолго до и после того, как узнаешь ее название. А еще - изобилие бесхозных, запаршивевших кошек; и это рядом с Египтом, где, сдается, еще вчера были они бархатными богами.

Сумерки богов дольше века.

Вот в полутьме, хрипя, и кропаешь.

А любовь?

Сочинение литературы хотя и не заменяет хорошего секса, но отчасти возмещает его отсутствие. Литература при этом не должна быть непременно хорошей.

Скажем, вопреки спиритическим домыслам Исаака Эммануиловича, прилагательных можно ставить столько, сколько просит душа. Условие одно: если есть выбор, - а он почти всегда есть, - короткие эпитеты предпочтительней. Длинные, впрочем, тоже. О точке - ниже.

Хладнокровна и неприступна была в восьмом классе Танечка Персиянова, прикатившая в нашу солнечную окраину империи из экзотического Тамбова: длинная - уже никто не носил - коса, мама пьет чай с блюдца в доме над озером, интересная, как тогда говорили, бледность со сквозящим румянцем, листва, посвежевшая после дождя, облита падугами вечерних неонов, хмурый (потому что еще не найден был выход) внутренний жар - обугленная головня, подернутая колкими искрами, коллекция открыток с артистами (Кадочников, Крючков, Глеб Стри-

женов), верблюжьи опухли ресниц, серые зрачки с веселенькой радужкой - пестрые наконечники пик обступили десятку, папа профессор, два солида, две комнаты книг и альбомов с деревянными завитушками в половине прихожей, рядом - карельской березы подставка для зонтов и галош, аристократы, вешалка для шляп, стан - хоть продень в кольцо, попка - орехи бей, с маху всю горку.

Летом мы пару раз катались вечерами на велосипедах по Парковой и Садовой (в центнер, не иначе из чугуна, „ХаВэЗэ“ + дамский трофейный "Dunlop" с двойным тормозом = ЛЮБОВЬ), пока на третий, возле пожарного депо, я сгоряча не въехал в торчавший из люка гидрант и, пропахав лицом тротуар, заживо содрал кожу с груди, живота и лягвей.

Розовоперстая под фонарем, промакая благоуханным платочком мои обширные ссадины в бисере выступивших кровинки, она с обычной безучастностью выслушала предложение отправиться на попутках к морю.

- Дня три?
- Сколько денег хватит.
- Я спрошусь у отца: мать не пустит.
- А отец?
- Он не услышит.

На следующий день нас подхватил с привокзальной площади первый же „газон“, груженный арбузами.

Стало быть, август.

Они были гулкие, бутылочно-зеленого цвета, твердые, как булыжники, тугие, как бурдюки, под завязку налитые пламенным соком, живые и прохладные даже в жару. Ближе к вечеру, когда ветер стал забегать под рубашку, они испускали концентрическое тепло и только лишь к ночи остыли в испарине.

Что тут скажешь? До моря двести км. Обнимались ли мы? Как бы да, но вы уже, наверно, забыли, что такое грунтовые дороги на покинутой родине. Часа три просадили мы на раскачку, потом, помаленьку аляя, начали барахтаться на арбузах, а там и арбузы стали скакать на нас сверху и сбоку и, к их чести, ни разу не промахнулись. Из трещин лилось липко и сладко. В общем, как я сейчас понимаю, больше сопенья, чем радости.

Потом обнаружилось, что машина тихо стоит, остывая, под звездами меж двух шелестящих кукурузных полей, что воздух пахнет бензином и свежим йодом - тянуло с лимана, - что водитель и экспедитор, выбравшись на подножки, по очереди зажигают спички и пытаются разглядеть во тьме наши пылающие останки. Впереди был обрыв и черно-серебряное сиянье ночного моря.

Помню, я не сразу догадался, что нам нужно разойтись по нужде: шесть часов езды и арбузы.

Мне казалось, что это невысказано. Но она вернулась не изменившись, лунно белея лицом в кукурузе.

Кто же любил меня больше всего на свете?

Верный пес по имени Ключик, всегда встречавший меня у школы, пока лапы не отказали; черная кошка, верившая мне, как себе, - я искупал ее в растворе хлорофоса, и она с пеной на устах отдала Богу душу у блюдца свежайшего покаянного молока, вместе с блохами, от которых, собственно, затевалось купание; моя бабушка и отец; женщина, имени которой я не помню. Кажется, все.

Кто сегодня любит меня больше всех на свете?

Никто.

А я кого?

Сына,,

Помнишь, Лева, мы как-то гуляли по майской Москве и вздохнули, само собой, об ушедшей юности. „Все идет хорошо, - сказал ты, - но если б сейчас скинуть годков пятнадцать...“ - „Нет, - возразил я, - лучше прожить лет двадцать лишку“. - „Как знать, - настроение у тебя было меланхолическое, - может быть, именно это уже и произошло...“

Ното solaris, ты всегда уверял меня, чтоб не сглазить, что от обеденного стола надо вставать с чувством легкого омерзения, что *дер зуникер велтбой* - этот солнечный мирострой - с каждым днем становится все гнуснее и что стоит только вообразить необыкновенную нежность и непрочность луны... а тут еще „Россия, Петербург, снега, подлецы“ - летейские грезы про Лорелею, переминающуюся возле аптеки.

И все же необходимость поставить точку раньше, чем хочется, отнюдь не похожа, вопреки всему, что ты утверждаешь, на пре-

рванное сношение. В отличие от coitus interruptus, такая точка не превращается в сопливое многоточие и в конечном счете доставляет гораздо больше удовольствия обеим сторонам - как влагающей содержание в форму, так и извлекающей из него кое-какие приятные ощущения.

Во всяком случае, каждый раз, когда, матерясь и побряхтывая от некоторых физиологических нюансов моего дарования, я вытряхиваю окурки в мусорное ведро и возвращаю на стол пустую обдутую пепельницу с витающими над доньшком хлопьями золы, у меня возникает чувство, будто я начинаю новую жизнь. Пока не поздно, пора бы уже понять, что безошибочней и счастливей этого чувства я никогда ничего не испытывал.

МОИ АИДЫ

Если мир еще держится, так только на нервах. Но особо чувствительна моя душа к феноменам космического порядка.

Бывает, подруга залимонится:

- Микичка! Сокол мой! Кусичка!

А я, непреклонный:

- К чему такие роскоши? Сказала бы прямо - старая жопа.

Такие же отношения у нас со смертью: ласки ее слишком известны - пойдешь вприпрыжку голышом по воде; и поздно прикидываться „незнайчиком“.

Рвану теперь географическую струну.

Кади(к)с - древнейший, чуть ли не XII века до вашей эры, атлантический порт между кадиллом и кадмием или, извольте, между Марселем и Амстердамом. Основали его, если не врут, финикийцы; эллины называли Гадесом (по-древнегречески - адский, мрачный), а шепелявые древние евреи - Кадешем, каковой корень также напоминает о заурядности.

Вообще говоря, Гадес в эллинском космосе - это Аид, гостеприимное царство мертвых, вход в которое - на крайнем западе, за рекой Океан. Аида, царя Аида, бога второй руки, Гомер именует тароватым, имея в виду, что смертная участь не минует ни одного человека.

В 1987 году, примерно в те дни, когда я там проплывал, в этом провинциальном городе насчитывалось 155 тысяч жителей. Судя по статистике, они занимались авиа- и судостроением, рыбо- и небокопчением (о! табачная фабрика, о! Кармен в обработке, о! Щедрина!); судя же по тому, что я видел, - любовью.

За плечами у меня, как полная луна, пылала Италия, где воздух, правильно пели, голубой.

В Марселе, отпущенный с „Максима Горького“ на променад по рыбному рынку, я заплутал и едва не остался. В Пор-Нуво (Новый порт) мой прах в беззвучно рыдающем виде доставил бесплатно за семь минут до отплытия лохматый французский араб на дребезжащем „рено“. От широты своей мавританской души он хотел притаранить меня прямо к трапу, но метров за триста, спохватившись, я во всю свою полиглотку заорал: "Stop it!" - и полетел пехом, под мысленный „Интернационал“ (слова А. Коца, музыка П. Дегейтера). Еще не хватало, чтоб империалисты меня катали на глазах у советских якорей.

Зато в Амстердаме я посетил квартал свежесмытых шлюх за лазоревыми, в газовой подсветке, витринами блуда и СПИДа и, облизнувшись, выклянчил неподалеку, в тесном магазинчике культтоваров, полную портативную Библию с неканоническими даже текстами. Она и сейчас со мной.

До Кадиса был также Гибралтарский пролив, в пол-восьмого утра Геркулесовы, сами понимаете, столбы. Ошуюю Африка, одесную Европа, мыс Трафальгар в тени одноглазого Нельсона, а прямо по курсу - обогнавший нас, как моторная лодка лучинку, белоснежный миллионерский лайнер-гигант. Покуда я бегал в каюту за биноклем, его название, вместе с площадками для гольфа и картофельными полями, навсегда превратилось в тайну.

Вода из Средиземного моря зримо переливалась в Атлантику, поднимая на перепаде осциллирующие брызги аккуратно в створе Харибды и Сциллы. Вдоль киля шла бесконечная, горбатая, как спина кашалота, волна. Заглядывая за борт, я дожевывал завтрак, и в этом было что-то неуважительное по отношению к океану. Обломок булки я скормил голосистым мхатовским чайкам, приговаривая:

- Кушайте, кушайте - евреи добрые!

И, наконец, полдень, Кадис, безоблачное блеклое небо над всей Испанией. Врубленные в берег мощные стены XVII века с воротами Пуэрта де Тьерра, достроенными в XVIII-м. Лично я на месте туземцев начал бы с ворот, но, выгнав таких, как мы, в конце XV-го, с ними уже не советовались. Собор Санта-Крус, XIII столетие. Все лабуда, шерри-бренди.

Впечатлили меня громадные, в полтора человеческого роста, зубцы этих стен - не столько зубцы, сколько бойницы меж ними. В каждой сидело по парочке: мыршавенькие, пряного посола, кабальерос лет пятнадцати, все как один с сигаретами или сигарами в зубах, а на коленях у них - еще более юные, косметически переоформленные нимфетки. Боже, как они их лобзали, как перебирали их волосы, ерзали, изгибались, чмокали, присасывались, лезли языком в ухо, забирались под галстук... мне не дожить до такого - я сроду галстука не носил! Ребята, как истые андалузцы, невозмутимо выдували в зенит волокнистые никотинные кольца, позволяя полуодетым махам манипулировать непрерывно.

Выглянув за стену в одну из случайно опустевших бойниц, я узрел далеко внизу, в праздничном блеске солнца, океанское дно, грубо обнажившееся после отлива, склизкие бурые камни, двоякдышащие мхи, непроглядно-черные трещины между ними и - врассыпную, как на желтых пейзажах Дали, - множество людей, которые, нагнувшись, собирали зазевавшихся крабов в болоньевые котомки.

Ездили, поцокивая по мостовой, полукаменные кареты. В них целовались.

Я закрыл рот и щелкнул зубами. Отвернуться сил не хватало. Очи не насыщались зрением, а зависть - нежностью.

Был конец февраля, день, кажется, святого Валентина. Нас, экскурсантов, наскоро прокатили по кегельбанным шоссе вдоль рыжих Стигийских болот в Севилью и назад. Апельсиновые рощи, золотая земля, желтое солнце Антонио Мачадо. Опять же Гвадалквивир.

Часов в семь, после ужина, я снова отпросился на берег, имея в кармане десяток песет. Большой праздник, сказали всезнающие официантки на „Горьком“, дуй за народом, не пропадешь.

Давно стемнело. Бойницы были пусты. Океан за стеной напрочь залил могучими водами камни, плиты и мхи, грозно приблизился к лицу - черный, не отражающий звезд, хищно ждущий, подрагивая шкурой.

Теперь представьте себе крохотный, в полтора шагов пяточок, заполненный молодежью так, как в Союзе, помните, ставали за водкой. Только все двери вокруг нараспашку, из них яркий свет и тихая музыка, и внутри тоже полно - яблоку не упасть. В сыроватом светящемся небе над пяточком переливается неумолчный, щеголеватый, щеголовитый будто бы щебет и смех, изредка восклицательные знаки, прямые и перевернутые. И все мальчики и девочки пьют пиво из стройных маркированных бокалов.

Помнится, и я попил пивца. Пыло пкусно.

Больше всего меня поразило и до сих пор не дает понять себя то, как в этом невообразимом, почти вокзальном, советских времен столпотворении никто ни к кому не прикасался, хотя ходили многие и прибавлялись новые. Сновали искусительные, как змеи, официанты с поддонами, на которых, по Гоголю, „Мертвые души“, сидело столько пенистых бокалов, как птиц на морском берегу. Я думал, затолкают, - но это была не шпана: даже в лицо никто не дохнул. С ленивой идальгической грацией каждый из них в крайний миг совершал стереометрические, вдоль и поперек собственной оси, гуттаперчевые вольты, сохраняя вокруг себя тончайшую воздушную оболочку - тот самый микрон, который должен уберечь тореро от бычьего рога. Быком в этом царстве чувствовал себя я.

Думаю, что они даже на земле не стояли, ибо на земле не было для них места. Его занимала порожняя тара: бокал, допив и изящно изогнув стан, опускали на тротуар и, подсвистывая официантам, снимали с пробегающего подноса новый. Ни одно стеклышко не прозвенело, ни один осколок не хрустнул.

Если это были тени Аида, я хочу к ним снова, уже сейчас, *inmediatamente, now*, Аид ахшав! Услышь меня, Господи.

МЯГКИЙ ВЕЧЕР

В этот вечер погода сдвинулась и отдала свои права на то, что еще будут заморозки. Стало тепло, наступило равновесие давления воздуха в домах и между ними, на улице, был даже легкий туман; шаги Николая Львовича прозвучали мягко по асфальту и исчезли, когда ступню обнял мягкий газон.

Он пришел.

Оказалась большая квартира, кого-то он тут знал, но хозяева и те, кто заправлял тихим весельем, ему были лично не знакомы, хотя он понимал их тип. Это были люди "cool", прошедшие в той или иной степени искушение жизни, угрозы стеснительности, и на сегодняшний день они вышли на плато, на горный луг этой просторной квартиры, где и вели тихие разговоры. Женщины были невысокие, некрасивые, незаметно, скромно одетые, а одна длинная с короткой стрижкой.

Ни между кем не было границ вежливости, так что не приходилось поддерживать беседу, и герой наш сел на диван, где пребывал, покуривая, попивая мятный теплый чай в теплом воздухе и переводя глаза с одних на других, пока не начались танцы.

Опять-таки никто ни с кем не танцевал, температура воздуха была ровная, а так, все двигались и не двигались, колыхались в теплом воздухе то шпалерами, то по одному, сдвигаясь наклоном, а не действием ног.

Потом хозяин вынес длинный нож и сказал:

– Давай убьем кого-нибудь.

Никто по этому поводу особенно не обратил внимания. Все

были уже слишком далеко в своем развитии, чтобы обращать внимание на переход от жизни туда, и, в конце концов, убийство – это старо, а ваши причины никого не интересуют. Психотерапевты, и те слушают их только за большие деньги. Так что Николай Львович не посчитал удобным отреагировать или спрятаться, или уйти из числа продолжавших танцевать, или выскользнуть из квартиры, как ему, безусловно, захотелось, услышав о таком беспричинном, никого не удивившем предложении хозяина, который, держа длинный нож вперед, уже ходил между танцующих, выбирая, кого полоснуть по шее. Николай Львович тихо надеялся, что не его.

Во время первого круга танца никто не привлек внимания хозяина квартиры, и все продолжали колыхаться. Опасения Николая Львовича возобновились, и тут хозяин подошел к одной очень скромной и молчаливой женщине, может быть, молдаванского происхождения, и всунул ей в живот глубоко и без усилия свой нож. Она не поняла и, думая, что продолжает стоять, на самом деле уже лежала, опираясь руками и приподнявшись на них так, что корпус ее был вертикален, что и позволяло ей, вероятно, не заметить, что уже она не стоит.

Эта тихая, молчаливая до сих пор женщина, не понимая источника своей страсти, произнесла длинную и быструю речь, совершенно понятную Николаю Львовичу, но содержание ее он потом забыл. Две подруги подняли ее на ноги, она договорила стоя, и ее тело спокойно положили у стены, шли мягкие, тихие разговоры хозяина с ближайшими друзьями, куда унести труп.

На пути домой Николай Львович подумал, что что-то все же есть страшное – не в самом действии убийства, а в том, насколько оно и все остальное происходит без причины.

Ему это не понравилось. Он был против беспричинного присвоения себе чужой жизни, и почувствовал, что не сможет взять то, что плохо лежит. Он собирался взять какую-то мелочь себе, позвонить с работы за границу. Звонков было много, счет никто не проверял, а ему выходила приятная экономия, но вот теперь, после этого вечера, он почувствовал, что больше так не сможет.

Николай Львович насупился и вздохнул.

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ПРЕДМЕТ СБЫТА

Недавно я продал русский язык. Около года назад. Сам и не заметил, как продал. Или предал. Что, по мнению объясняющих мне это, одно и то же.

Пошел со своей подружкой в ресторан. Она попросила угостить ее омаром. Омар также называется лобстером. Заказали. Ей ома-ра, мне цыпленка. Едим. Она мне говорит: „Что же это ты, козлиное рыло, русский язык продал?“ Я удивился. Насколько я помню русский язык, у козла рыла никогда не было. Рыло, пожалуй, у свиньи. Поскольку это то, чем роют. Но, конечно, обидно, когда женщина, которую ты кормишь, тебя же и оскорбляет.

Потом и другие тоже. Предал, говорят, русский язык. Или продал. В газетах по-русски написали. По радио на том же русском языке передали: предал, предал... Я другие языки недостаточно хорошо понимаю. То есть изъясниться могу, в ресторане там или в банке, например. Каман-са ва? Хау мач? И в таком роде. Но живу и мыслю, если уж мысли доходят до языка, в основном на русском.

Впрочем, ничего такого особенно русского я не говорил и не делал. Когда оказываешься в районе скопления значительного количества людей, не понимающих русского языка, то его ценность субъективно уменьшается. Я понятно выразился? А то преданный мною – или мне, как правильно? – нет, все-таки мною русский язык может и подвести. К странным решениям подвести. Пробежался по омонимам. Нет, со мною язык. Не предавал. Однако какое-то гадкое подозрение остается.

По телевидению тоже говорили. Диктор такой приятный, прилизанный, гладкий. Сытенький такой. Говорит: „Некоторые наши зарубежные соотечественники, особенно подвизавшиеся на ниве литературы, предали родной язык на потребу“, – говорит. Или продали. Впрочем, он-то, может быть, мне привиделся. Только и правды в этом, что зарубежный соотечественник – это я. Конечно, я подвизаюсь на этом... на литературе. Потому что звание литератора, как я с детства усвоил, это звание почетное, высокое, и дается практически на дармовщинку. Сам себя назначил литератором. Назначенный, будь здоров. Всегда можно отыскать людей не читавших, которым и фамилия твоя, и литература твоя ничего не говорят. Без видимого вреда для тебя и для них.

А еще есть множество людей, среди которых любой умный человек – уже литератор.

Собственно говоря, мне не должно быть ни жарко, ни холодно от того, что мною предан этот треклятый язык. Но немножко все же неприятно. Если бы он от моего предательства умер – тогда дело другое. Тогда я даже гордился бы – вот какова сила моей измены! А так: предал ли, продал – все равно ни существенного дохода от этого, ни удовольствия. А то еще – кому продал? Или предал – кому?

Вдруг оказывается, что этот язык, которым я с детства владею совершенно бесплатно, никому невозможно продать.

Учителя языка отпускают его на уроках порционно. А литератор предлагает весь сразу. То есть приобрести его у литератора может только тот, кто сам понимает как на нем – или с ним, как правильно? – нет, все-таки с ним обращаться. Но зачем ему тогда этот самый язык, с которым он и так знает, как.

А они, те, в газетах на русском языке, по радио, в телевизиорном позорном ящике шипят: „продал, продал. Предатель р-родины!“ Конечно, я эмигрант. С их точки зрения. С моей точки зрения, я, может быть, идейный беженец. Потому что там, где говорят порусски, очень трудно жить. Там мне было мучительно легко умереть и очень трудно жить. И я радостно убежал. Весь. С языком.

Встретил приятеля. Приятельствовали раньше, создавая веселые словосочетания. Стал ему жаловаться, но вижу – не понимает. Вижу – осваивает новый язык новой страны пребывания. Мучается,

просветляется, снова мучается. Чужие дети от него шарахаются. Он, носитель языка, которым владеют сотни миллионов, страдает от незнания морфем языка, не имеющего и десяти миллионов приверженцев. Я потрогал его. Он потный и теплый, я ему не нужен.

А иные нет, заводятся, горячатся. „Если ты русский литератор, – топал на меня ногами другой, назначивший себя русским поэтом, – так и дух языка, высокое знамя, землю грызть, перевод с еврейского, культура словесного употребления, художник и толпа. И ты должен понять, что светлые идеалы, Иван Федоров, рукописи не горят, но бумага терпит, дойти до каждого уха, мы никому здесь не нужны, великий язык, глыба, человечеще...“ За ним встала армия мертвецов, лилового чернилами.

Хорошо было последнему из могикан. В нем воплотилась вся великая могиканская литература. Но плохо – поговорить не с кем. И теперь, мне, наверное, должно быть стыдно. Потому что с детства научился я, что бессмысленное предательство постыдно. Если же предательства не было, то куда, черт меня побери совсем, от меня подевался великий проклятый русский язык? В тех же газетах, в которых я предал, недавно заголовочек заметил: „В России уже начали умирать пенсионеры“. Своими глазами видел такой заголовок, клянусь. Как-будто в других странах пенсионеры живут вечно...

Ладно, телевизор я выключу, газеты высмею, подружку прогоню. Избавлюсь от предательнического стыда. Но все труднее становится сочетать слова единственно близкого языка, который не так люблю, чтобы ради терпеть на его территории дрянную жизнь готов был отказаться от возможности заказать лобстера по карману. И никогда не.

Вадим Ротенберг

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС

В 1994 г. в Иерусалиме на международном Конгрессе по проблемам эмиграции было представлено очень интересное исследование. Сопоставлялись результаты социологического опроса лиц, прибывших в Израиль в 1991 году, спустя несколько месяцев после репатриации и повторного опроса этого же контингента лиц после трехлетнего проживания в стране. Люди, только что прибывшие в страну и совершенно с ней не знакомые, были в массе своей настроены на культурную интеграцию, предполагали выучить язык и приобщиться к культуре страны.

Спустя три года значительная часть представителей этой же волны репатриации уже достаточно хорошо знала язык, многие устроились на работу, в том числе - по специальности, и при этом декларировали неготовность к принятию культурных доминант израильского общества и его жизненных ценностей. Они были, вопреки исходной установке, ориентированы на русскоязычные средства массовой информации и подчеркивали приверженность русской культуре. Эта идентификация с русской культурой является, на мой взгляд, важнейшим компонентом самоидентификации русскоговорящего еврейства и заслуживает подробного обсуждения.

Прежде всего при более внимательном анализе возникает удивление: почему, собственно, речь идет о русской культуре. Интерес к пьесам Шекспира был не меньшим, чем к пьесам Чехова, о русских писателях в еврейских интеллигентных кругах говорили не больше, чем о Хемингуэе или Фолкнере, французскими импрессионистами интересовались не меньше, чем передвижниками. Почему же осознается и подчеркивается связь именно с русской, а не мировой культурой? Откуда массовость и высокая энергетика этой самоидентификации даже в тех кругах общества, которые были по существу далеки от любой культуры?

Конечно, определенную роль здесь играют психологические защитные механизмы. Ощущение, что общество недооценивает и отвергает новых репатриантов, заставляет их искать опору на собственные ценности, прежде всего культурные, и если уж их дискриминируют как русских, то и приоритет отдается русской культуре. Но это только самый поверхностный пласт проблемы.

Социологические исследования, проведенные по инициативе партии «Израэль ба-Алия» незадолго до выборов 1996 года, показали, что 45% новых репатриантов не удовлетворены недостаточно еврейским (!) характером Государства Израиль. Что бы это значило? Очевидно, что еврейский характер государства не связывается этими репатриантами с религией. Абсолютное большинство вновь прибывших - секулярно ориентировано; в их глазах иудаизм занимает даже непомерно большое место в жизни израильского общества. Что же для них в таком случае определяет еврейский характер государства?

По роду моей деятельности (чтение лекций, организация семинаров и групп психологической поддержки) мне приходится общаться с широким кругом лиц по всей стране. На основе моих впечатлений я пришел к выводу, что многие репатрианты удручены несовпадением между их ценностными ориентациями, которые они считают традиционно еврейскими, и ценностями, которые, по их мнению, доминируют в израильском обществе. К традиционно еврейским репатрианты относят образование, культуру во всех ее проявлениях, уважение к творчеству и интеллекту, соблюдение этических норм, таких как ответственность, честность и добросовестность. В цитированном социологическом исследовании установлено, что 67% опрошенных недовольны уровнем израильской культуры, и есть основание предполагать, что имеется в виду не столько уровень культуры, сколько ее **социальный статус**.

Несущественно, всегда ли люди в своем собственном поведении руководствуются декларируемыми ценностями. Гораздо важнее, что в их сознании статус этих ценностей высок и определяет формирование идеалов. И когда они видят, что в обществе, которое они хотели бы воспринимать как свое, статус этих ценностей невысок, они испытывают глубокое разочарование. Согласно исследованию проф. Д. Аптекмана, 73% новых репатриантов не удовлетворены уровнем нравственных норм в Израиле, не считают

их соответствующими еврейским традициям и верят в возможность их изменения.

Полагаю, что есть тесная связь между этой неудовлетворенностью доминирующими ценностями общества и идентификацией именно с русской культурой. Обусловлено это тем, что самоидентификация русского еврейства в очень большой степени связана с традиционной социальной ролью русской культуры и с динамикой этой роли.

Прежде всего разрешите начать с анекдота 60-х – 70-х годов. Хороший анекдот – это очень часто концентрированное метафорическое выражение серьезных идей. Анекдот такой: «Все советские писатели делятся на еврейских и русских. К еврейским относятся Паустовский, Чуковский, Некрасов, а к русским – Чаковский, Дымшиц, Солодарь». Выбор имен в обеих группах не случаен. В первую – «еврейские писатели» – попали не просто хорошие русские писатели, а те, у кого была репутация хранителей этических ценностей. В противоположную группу включены этнические евреи, таким ценностям не приверженные и верно служащие власти. Отнесение их к «русским» отражает одновременно и издевку над этими ливрейными евреями, и протест против шовинизма власти. Но центр тяжести анекдота – в отождествлении высших этических ценностей русской культуры с еврейством, и этот феномен заслуживает подробного разговора.

Российская культура, начиная с 19-го века, всегда выполняла функцию, дополнительную к самой культуре – функцию **духовного сопротивления власти**, которая на протяжении почти всей истории России была воинствующе аморальной. «Поэт в России больше чем поэт», и это относится не только к литераторам, хотя к ним может быть в наибольшей степени. Это относится ко всей интеллигенции. Интеллигенция – понятие специфически российское, подразумевающее в людях интеллектуального труда не только профессионалов, но и обязательно носителей этических ценностей и заряда духовного сопротивления всему, что эти ценности отрицает. Отсюда – исключительная престижность принадлежности к интеллигенции в России – более высокая, чем в странах Запада, где необходимость в таком сопротивлении была гораздо ниже из-за больших гражданских свобод и меньшего социального давления на личность. Такая престижность русской культуры неожиданно и интересно совпадает с исключительной престижностью интеллигентных профессий (врач, учитель) в еврейской об-

щине. У «народа книги» ученые цадики и учителя хедеров, независимо от их материального статуса, пользовались уважением не только как профессионалы, но и как носители мудрости и этического чувства. Не удивительно, что даже до уравнивания евреев в правах с другими гражданами, начиная с последней трети прошлого века, евреи устремились в русскую культуру, столь близкую им своей социальной ролью. А с другой стороны, совсем не случайно, что специфически еврейская тема «пророка» оказалась так близка российской поэзии.

Однако сразу после революции произошла опасная девальвация этой роли русской культуры. Значительная часть интеллигенции эмигрировала и утратила влияние на общество. Принявшие революцию люди культуры либо быстро разочаровались в ее нравственных основах и сохраняя верность себе и культуре впали в депрессию вплоть до физической смерти (А. Блок), либо встали на путь самоотрицания, принуждая себя поверить в правоту революционных ценностей. Литератор Белинков блистательно проиллюстрировал этот путь на примере «Зависти» Олеси, «Дня Второго» Эренбурга и ряда других произведений. Немногие, как Ахматова и Булгаков, остались верны духовному сопротивлению, ушедшему в подполье. Ахматова прекрасно сформулировала это в стихотворении на смерть Булгакова:

«Ты так сурово жил, и до конца донес
Великолепное презренье».

Но таких было слишком мало, и психологический климат им не благоприятствовал. Сомнение в праве на духовное сопротивление охватило даже таких гигантов, как Мандельштам и Пастернак.

Еврейская интеллигенция в массе своей переживала в это время этап, который я назвал бы этапом трагического подъема. Подъема – ибо тысячи молодых евреев устремились в институты, успешно реализовывали себя профессионально, и активно заполняли вакуум, образовавшийся в культурной жизни, в науке и искусстве. Трагического – потому, что евреи, в массе своей, переживали медовый месяц полной солидарности с властью по сути аморальной. И во имя этой солидарности большинство было искренне готово отказаться не только от религиозной самоидентификации, но и от сочувствия той традиционной роли рус-

ской культуры, которая так удивительно совпадала с вечными еврейскими этическими ценностями – терпимостью, защитой слабого, духовным сопротивлением насилию.

Именно на этот период выпадает самый интенсивный процесс ассимиляции как наиболее примитивного проявления самоотрицания. Самоотрицание русской культуры совпало с готовностью многих евреев отказаться от еврейской самоидентификации во имя идеалов коммунизма.

Социальная роль культуры в России стала постепенно восстанавливаться после страшного отрезвления, связанного с большим террором. Самые честные и смелые (а среди них естественно оказались и самые талантливые) почувствовали необходимость в духовном сопротивлении. Это не осталось незамеченным властью, и культура из ее союзника стала постепенно превращаться в ее врага. А к этому времени роль евреев в советской культуре была уже вызывающе велика – и в литературе, и в искусстве, и в науке. Рискну предположить, что антисемитизм советской власти, в отличие от геноцидного антисемитизма Гитлера, представлял собой только часть антиинтеллигентского тоталитаризма, и потому, начавшись при Сталине, сохранялся и при всех остальных вождях, претерпевая колебания в соответствии с колебаниями отношений между культурой и властью. Не случайно борьбе с космополитизмом как почти откровенной форме антисемитизма непосредственно предшествовало постановление против Ахматовой и Зощенко – представителей русской сопротивляющейся культуры.

Социальные процессы нередко имеют двустороннюю направленность. Власть, отождествляющая жида с духовно независимым интеллигентом и поднимающая против интеллигенции волну антисемитизма, побудила евреев, в массе своей, отождествлять себя со своей интеллигенцией, с ее жизненными ценностями и ролевыми функциями, совпадавшими с традицией русской культуры. Антисемитизм, исходно направленный против интеллигенции, ею одной не ограничивался и распространялся на все слои еврейской общины. Но в обществе было интуитивное ощущение, что именно интеллигенция находится на передовой этой войны власти с еврейством. В журнале «Крокодил» были в то время очень откровенные карикатуры – человек с типично еврейской внешностью бежит, сжимая в руках книгу, на обложке которой ясно выведено – «Жид». На любой упрек в антисемитизме автор карикатуры ответил бы, что имелся в виду французский писатель Андре Жид – один из духовных

лидеров западной интеллигенции. Совпадение фамилии и оскорбительной клички использовано карикатуристом совершенно адекватно основным установкам власти.

Знаменательно, что во все последующие десятилетия русские «патриоты» постоянно записывали в евреи наиболее ярких представителей русской демократической интеллигенции, и это вновь возвращает нас к анекдоту о писателях.

Но чем в большей степени враждебный культуре тоталитарный режим принимал формы антисемитизма, тем выраженной становилась тенденция евреев из разных слоев общества отождествлять себя со своей культурной элитой, которая была одновременно частью русской культуры. Это возвращало людям чувство собственного достоинства.

Еврейская самоидентификация строилась на ощущении личной связанности с лучшими шахматистами – Ботвинником, Талем, выдающимися еврейскими музыкантами, видными писателями, ведущими учеными. При публикации списков лауреатов Государственной премии евреи по всей стране, независимо от уровня образования и занимаемого положения, выискивали и подчеркивали в этом списке еврейские фамилии с ощущением гордости и собственной причастности. Эта гордость усиливалась ясным пониманием того, как трудно в этом обществе еврею добиться успеха. Их успех воспринимался, как часть коллективного сопротивления – отсюда и ощущение причастности. Заметим что ориентация была всегда на деятелей науки и культуры, а не на успешно делающих партийно-бюрократическую карьеру, таких, как Каганович или Дымшиц (министр).

В этой самоидентификации с культурной элитой присутствовало неосознанное отождествление себя с ее духовным сопротивлением, с ее этическими ценностями. И поэтому тех, кто к такому сопротивлению склонен не был – как писатель Чаковский и критик Дымшиц из анекдота – фольклор не удостоивал признанием принадлежности к еврейству.

Герой Гашека, подпоручик Лукаш, считал чешский народ чем-то вроде тайной организации, к которой лучше не принадлежать. Сотни тысяч евреев, благодаря чувству причастности к сопротивляющейся культуре, считали еврейский народ чем-то вроде тайной организации, принадлежность к которой хотя и опасна, но почетна.

Создание Государства Израиль сразу после Катастрофы стало важнейшим фактором еврейского самоуважения и самосознания. Израиль сделался для миллионов евреев

синонимом вызова национальному унижению, точно так же, как этим синонимом были еврейские представители русской культуры. Именно на этом самосознании, явно проявившем себя после Шестидневной войны, основывалось все движение исхода 70-х годов.

Были, конечно, люди, стыдившиеся своего еврейства и всячески от него открещивающиеся. Но они враждебно относились к идее исхода, как к самой большой угрозе своей вожденной ассимиляции и нередко избегали общения в еврейской среде, что было несвойственно большинству евреев. Если бы эти люди численно доминировали, движение за репатриацию не было бы так опасно и ненавистно властям, ибо силу это движение черпало в осторожном сочувствии того большинства, которое само еще не решалось на активные действия. Присоединение к движению исхода слишком долго сулило либо определенные опасности – в случае отказа, либо опасную неопределенность – в случае разрешения на выезд в условиях чудовищного дефицита информации. И тем не менее число заявлений с просьбой о разрешении на репатриацию в 70-е годы неуклонно нарастало, и десятки тысяч предпочли бедный и небезопасный Израиль богатой и безопасной Америке. Такой выбор трудно представить себе при отсутствии еврейской самоидентификации. А самоидентификация эта, как мы уже показали, в немалой степени формировалась и под влиянием борющейся культуры.

Ориентация на духовное сопротивление формировала ценностные установки. С этими установками и приехали в Израиль многие репатрианты и 70-х, и 90-х годов. Таким образом, видимое противоречие между ощущением недостаточности еврейского характера Государства Израиль и чувством принадлежности к русской культуре может быть снято: то, что репатрианты принимают за свою специфическую связь с русской культурой, в очень большой степени есть отождествление себя с ее социальной ролью – ролью духовного сопротивления и сохранения этических ценностей. В условиях единого наступления тоталитаризма и антисемитизма на культуру эта социальная роль культуры стала во многом основой еврейского самосознания, еврейской самоидентификации. В Израиле эта самоидентификация подверглась тяжелому испытанию: к сожалению, довольно большая часть общества, в которое влились репатрианты, оказалась носителем совершенно иных ценностей. Оказалось, что в еврейском государстве нет однозначной

тенденции к противодействию духовной энтропии и девальвации этических норм. Чувство размывания этих норм наиболее травмирующее. Именно оно вызывает протест и сомнение в еврейском характере государства. Разумеется, в израильском обществе есть солидный здоровый слой, придерживающийся тех же установок и норм, которые русскоязычные евреи привыкли отождествлять с еврейством. Но представители этого слоя общества не склонны к вызывающему самоутверждению и поэтому нередко воспринимаются как аутсайдеры, а социально успешными и доминирующими выглядят люди с противоположными установками. Дефицит добросовестности и ответственности, отсутствие должного уважения к личной порядочности, интеллекту и творчеству подрывает основы самоидентификации у новых репатриантов и лишает их надежд на перспективы. Вместе с тем, если дать легитимизацию их протесту, если удастся сохранить эти ценности и восстановить самоуважение, если не будет утрачена готовность к сопротивлению энтропийным тенденциям в сфере этики и культуры – то это может стать основным продуктивным вкладом алии в израильское общество.

Как выглядит ангел смерти и куда исчезают надоевшие жены,
убийство премьер-министра при помощи каббалы
и секреты преуспевания бизнеса –

читайте в новой книге

Я К О В А Ш Е Х Т Е Р А

ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ

«Это – нефтривиальная проза...» – считает Дина Рубина.

«...Богом дарованный талант...» – пишет Анатолий Алексин.

*«...Шехтер возвращает нас к главному, во имя чего вообще
существует истинная литература...»* – утверждает

Эфраим Баух.

«Он любит и умеет искать свое слово...» – отмечает

Григорий Канович.

230 страниц, 25 шекелей

Заказы по телефонам: 08-9457588, 050-927768

ИСКУССТВО И ЖЕРТВЫ

Дмитрий Хмельницкий

КОНЦЕПТУАЛИЗМ ГЛАЗАМА РЕАЛИСТА.

«...Сейчас ясно, что тип авангардного художника (и вообще авангардное искусство, как артикулирующее основные проблемы нашего времени) завершен. На смену пришли некие переходные модификации общего концептуального сознания, такие как трансавангард, постмодерн. Но очевидно, что они являются промежуточными моделями существования искусства. Что за новый тип искусства и новый тип художника возникнет – не берусь судить.»

Это цитата из интервью концептуалиста Дмитрия Александровича Пригова журналу «Вестник новой литературы» в 1994 году. Оно озаглавлено «Художник. Новая роль в новом искусстве». Дмитрий Александрович вообще-то шутник, но в данном случае он серьезен. Из сказанного ясно, что, во-первых, имеет место быть особый тип «авангардного художника», противопоставленный неавангардному. Авангардный художник артикулирует проблемы нашего времени, а неавангардный – нет. Во-вторых, на момент интервью развитие данного типа авангардного художника закончено и в ближайшем будущем грядет иной еще более новый тип искусства (не вид и не жанр!). А также еще более новый тип художника, который, как видно из дальнейшего текста, будет не художником, а деятелем, то есть изготовителем чего-то пока неясного – «...медиатором и регулятором в очень широкой зоне культурного проявления человека как такового... Это будет человек, который станет имитировать художественную деятельность некой квазипрактической деятельностью.»

В третьих ясно, что птичий язык приведенных цитат означает: с обычным искусствоведением и обычной историей искусств данные интеллектуальные упражнения ничего общего иметь не хотят.

Единого подхода к старому и новому искусству быть не может. Авангардизм неавангардной художественной критике не подлечит. Внутри авангардизма места критике тоже нет за отсутствием проблемы качества. Еще из Дмитрия Александровича – *«...до наших дней основная борьба между культурой и живым искусством была в том, что каждый раз искусство являло некие новые зоны действительности, которыми оно овладевало, некие новые приемы, некие новые художественные позы, объявляя, что это тоже искусство.»*

Итак, «старый» художник боролся только сам с собой. «Новый» борется с культурой. «Старое» искусство занималось самовыражением и самокопанием. «Новое» являет миру «художественные позы», объявляет их искусством и рассчитывает, что ему поверят. Короче, плевков художника есть искусство, оценить качество плевка не дано никому, художник плюнул, или нехудожник – зависит исключительно от самоидентификации плюющего. Круг замкнулся. В этой системе чужакам делать нечего и судить не позволено. Своим тоже.

Внутри сообщества авангардистов иерархия, конечно, есть, и очень жесткая. Она определяется не художественным уровнем (за отсутствием понятия), а тем, что в обычных условиях является следствием художественного уровня – известностью, рыночным успехом и размерами гонораров. В системе есть генералы – Кабаков и Булатов, есть полковники, майоры и лейтенанты. Система одномерна. В неавангардном искусстве рыночный успех не обязательно соответствует реальному уровню. Массовая публика не всегда может отличить настоящее от кича, трюки от серьезной работы. Публика концептуалистов и не должна отличать. В их лексике эти категории отсутствуют.

Прелестный вышел парадокс. Героические советские нонконформисты десятилетиями боролись с продажным и лживым советским официальным искусством за искусство бескорыстное, свободное и независимое. Победили. Вышли на рынок. И зависли на нем.

Когда-то я очень любил ходить на официальные ежегодные выставки ленинградского Союза художников. Занятие это было не без мазохизма – хорошими выставки не были никогда – но удовольствия доставляло массу. Во-первых, грело душу не вполне благородное чувство превосходства – это не ты играешь с государством в глупую и унижительную игру «что есть социалистический реализм». Во-вторых, очень интересно психологически. За каждой картиной маячила физиономия автора, искаженная в меру ума, способностей и цинизма. Все официальные советские художники, кроме разве уж совсем законченных идиотов, были двоемыслими. Как профессионалы, знакомые с историей профессии (а совсем диких в Союз не принимали, так же как совсем неуправляемых), они понимали цену марксистско-ленинской эстетике вообще и собственной деятельности в частности. Хорошо знали, что на продажу, а что для души. Было как бы три типа картин. Только для заработка (вроде портретов Брежнева и индустриальных пейзажей) – написал, сдал, сплюнул и забыл. Только для себя (чем лучше художник, тем больше эта категория) и третья – для выставок. Тут надо было соблюдать правила идеологической игры, но так чтобы не очень уж позориться. В рамках предписанной схемы всегда можно было найти отдушину, уйти в глубину – в цвет, в форму, в композицию, – но надо было хорошо уметь и очень свое дело любить, причем любить бескорыстно. Как ни странно, тяжелая жизнь советского деятеля культуры в законе (это не только художников касается) способствовала оттачиванию творческих принципов и совершенствованию мастерства. Способствовала, конечно, и обратному, но выбор был всегда. Уж если человек брался бороться с самим собой, чтобы себя отстоять, то должен был разобраться, что отстаивать, зачем и от кого.

Был и другой путь, более сладкий и некомфортабельный – в игры эти поганые не играть вовсе. Сиди в подвале и твори.

Помню первую выставку ленинградских нонконформистов в Доме Культуры Газа в 1974 году. Там выставялась публика именно такого рода. Снаружи очередь, метель, железные барьеры, милиция, а внутри разгул стилистического неповиновения, от гиперреализма до самых оголтелых поп- и обартов. Очень раз-

нообразно и в целом довольно поверхностно. Смело, нахально, наивно, старательно – в общем, живопись «от противного», по принципу «не спрятать ватот нас заграничных журналов». Главное достоинство – непосредственность. Выставили то, что писалось для себя, без расчета на демонстрацию и успех. Следующие выставки были гораздо менее интересны. Появилась тенденция – поддерживать свою репутацию авангардистов.

Начиналось движение нонконформистов однако совсем иначе. Его основу заложили одиночки-шестидесятники, отказавшиеся административно подчиняться художественным властям и терпеть цензуру Союза Художников. Об идеологическом авангардизме и борьбе с официальным искусством тут речь не шла – только об элементарной человеческой независимости. Эрнст Неизвестный, сначала советская, а потом антисоветская знаменитость, как был при Хрущеве салонным модернистом, так и остается им поныне. Михаил Вейсберг, Оскар Рабин, Михаил Шемякин не намного более авангардны, чем Попков, Жилинский или академики Мыльников и Моисеев. По крайней мере, с формальной стороны водораздела здесь не видно. Разве, что тематически.

Неподцензурная литература начиналась в пятидесятые-шестидесятые годы похожим образом. Окуджава и Галич не были авангардистами, Бродский не стал им. Литературный авангард развился к перестройке, но тотальной авангардизации антисоветской литературы, в отличие от антисоветской живописи не произошло.

* * *

В семидесятые годы сформировалось то, что сейчас называется культурой советского андерграунда. Во внутреннюю эмиграцию, в кочегары, дворники и ВПХ–ы пошли беглые интеллигенты – инженеры и гуманитарии, которым до смерти осточертела казенная служба. Оказалось, что за те же самые небольшие деньги (вечные сто рублей) можно жить исключительно духовной жизнью. И заниматься исключительно творчеством – писать стихи и картины. В обществе всегда много людей разного возраста и разных профессий, которые любят на досуге рисовать. Или выжигать. Или вырезать лобзиком. Они называются художники-любители и отличаются от профессионалов отсутствием широкой подготовки и зависимостью художественных приемов от избранных образ-

цов. В нормальном обществе они занимают определенную культурную нишу, ходят в вечерние художественные студии при домах культуры и клубах, устраивают собственные выставки. Таких людей с тягой к художественному творчеству и нереализованным чувством социального протеста во множестве вобрал в себя андеграунд. Они получили возможность приобрести высокий социальный статус художника-нонконформиста, минуя стадию любителя и все трудности, связанные с обучением профессии. Этим путем пошли, конечно, и многие профессионалы. Оказалось, что стать художником-авангардистом довольно просто. Главное – знать, чего избегать. Избегать традиционных жанров, которые хотя бы случайно могут оказаться в русле легальной живописи. Никаких портретов, натюрмортов, ландшафтов как таковых. Если есть изобразительность, то обязательно с подтекстом. В девятнадцатом веке это называлось «гражданской идеей». Сегодня – «концепцией». Пказалось кроме того, что подражать Малевичу значительно проще, чем Серову.

Все подпольные выставки семидесятых-восьмидесятых годов формировались «от противного». Туда проходило только то, что никак не могло попасть на официальные выставки. И не проходило ничего, что могло туда попасть. Формальные границы нонконформизма очерчивались очень четко. Официально запрещались абстракционизм во всех вариантах, западный модернизм, сюрреализм, попарт, религиозность, антисоветские сюжеты, западная символика. На архитектурном факультете института имени Репина в Ленинграде, где я учился в середине семидесятых, студентам было хорошо известно – беспредметная композиция даже на такую невинную тему, как театральная занавес, каралась двойкой. Все запрещенное присутствовало на подпольных выставках в обязательном порядке. На них трудно было встретить прямых последователей настоящего авангарда 20-х годов – «Бубнового валета», классического абстракционизма, Кандинского, Фалька, Петрова-Водкина. То искусство было традиционным по мышлению, то есть просто живописью. Оно не замешивалось на социальном протесте, идеологии, требовало вполне традиционной подготовки и серьезной работы над сугубо традиционными проблемами – форма, цвет, композиция, среда, фактура. Если под «формализмом» понимать углубленную работу над формой в ущерб смысловой и сюжетной стороне дела, то подпольный советский авангардизм с самого начала был настро-

ен резко «антиформалистически». Как и Союз художников СССР, он тяготел к организованности, идеологии, духовным ценностям, выходящим за рамки чисто пластических задач.

Можно различить два типа художников-авангардистов. Первую составляли упоминавшиеся уже выше любители – ушедшие во внутреннюю эмиграцию интеллигенты. Они удовлетворяли сразу две страсти – нелюбовь к советской власти и любовь к искусству. Путь к званию художника-нонконформиста оказывался коротким и быстрым. Он не требовал ни долгой подготовки, ни даже особых способностей – только смелости.

Массовый потребитель культуры андерграунда – советская диссидентская интеллигенция была такой же – не имела культурных корней и подготовки, настроена на идеологию (антисоветскую) и на все запрещенное. Была романтической – атмосфера подпольных и полуподпольных выставок доставляла удовольствие не менее острое, чем просто эстетическое. Атмосфера неповиновения оказывалась более чем достаточным результатом выставок. О критике речь не шла.

Другую группу авангардистов составили профессионалы, которых не устраивал не только Союз Художников, но и вообще традиционные жанры и традиционная история искусств. Цели движения еще в 60-е годы точно выразил их вождь Илья Кабаков – «...Мы живем в эпоху инфляции искусства. Сегодня никого нельзя удивить изощренной живописной техникой или необычной цветовой гаммой. Все умеют писать хорошо. Нужно привлечь к себе внимание публики на выставке – и это главное.» (цитирую по воспоминаниям Нины Воронель в журнале «22», № 91, Тель-Авив, 1994). Сама мысль, даже если допустить, что она формулировалась иначе (воспоминания – не стенограмма) передана безусловно точно. Она полностью соответствует творческому пути Кабакова и возглавляемого им движения. С точки зрения соцреализма мысль безусловно антисоветская, то есть нонконформистская. Но одновременно она настолько противоречит и нормальному внесоветскому искусствоведению, что ее можно было бы счесть невежеством, если не знать, что Кабаков вполне грамотно обучен. Он просто лукавил. Хорошо умели писать всегда и многие. Одна Российская Академия Художеств столетиями выпускала по несколько десятков обученных специалистов в год. Установка на внимание публики любой ценой есть установка на обывателя, установка на китч. Реальный уровень художников

никогда не определялся «изощренной техникой» или «необычной цветовой гаммой». Ван Гог и Кандинский очень удивились бы услышав такое. Главное в живописи все-таки живопись – личные пластические качества, способность не обязательно лучше, но иначе, чем прочие воспринимать, перерабатывать и передавать пластику, цвет, форму и т.д.. Изощренная техника кому-то мешала, кому-то помогала, на кого-то вообще не влияла, но – главное – никогда не определяла уровень. Эта банальная очевидность, которую и повторять неудобно. Она справедлива для искусства всех эпох и всех стилей.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Случайно и давно брошенная Кабаковым фраза очень важна. В ней сформулирован творческий метод «антисоциалистического антиреализма». В цитате из Д.А. Пригова, которой начинается эта статья, изложена та же мысль, но уже с помощью хорошо разработанного терминологического и методологического аппарата. За время, прошедшее между двумя высказываниями метод обеспечил своим последователям международную славу и гонорары.

Вожди андерграунда еще в 60-е годы нащупали обходной, внехудожественный путь к славе. В этом у них был великий предшественник – запрещенный и проклинаемый советским официозом Сальвадор Дали. Дали – кумир диссидентской культуры. Его альбомы контрабандой ввозятся в страну и продаются из-под полы. Сказать что-либо дурное в адрес Дали в неформальном интеллектуальном обществе было также неприлично, как заявить себя атеистом. Сюрреализм Дали – многозначительные ребусы, иллюзорно исполненные загадочно-насмешливые композиции – представлялся апофеозом западного художественного интеллектуализма. Коллеги Дали – Кирико, Миро, Магрит такой популярностью не пользовались.

В записных книжках Венедикта Ерофеева есть фраза – «Мистификатор и трюкачист Сальвадор Дали». Гениальность Ерофеева состояла помимо прочего во врожденной независимости от любых общественных мнений и в способности чутко чувствовать реальный смысл слов и поступков. Его нельзя было запугать глубокомыслием.

Ерофеев прав. Как живописец Дали намного слабее всех своих менее знаменитых коллег по стилю. Он блестяще подготовлен технически, но его предел в живописи – натурализм лактионовского толка. Дали вполне приличный график и скульптор, но не самостоятельный. В пластике ему далеко до Джакометти и Макса Эрнста. Дали – шутник, выдумщик, остроумец, возможно, и гениальный, но это область далекая от той, в которой он формально прославился – живописи и скульптуры. Он превратил свой дом-ателье в Фигуейросе в балаган, шкатулку с сюрпризами. Украсил наружные стены гипсовыми булочками и гигантскими куриными яйцами. Ходить по дому безумно интересно, там можно найти все, что угодно, кроме хорошей живописи. Трудно представить себе, что такие развлечения могли занимать Пикассо или Шагала. Они были просто людьми другой профессии.

Дали придумал гениальный способ перепрыгнуть через собственную бездарность – морочить голову всем желающим. Но и оставил себе путь для отступления. В его вещах чувствуется ирония, над собой и над публикой. Он как бы говорит – «я развлекаюсь. Охота вам видеть в этом мудрость, философию, глубины подсознания – пожалуйста, ваши проблемы. Неохота – прекрасно. Вместе посмеемся и над моими шутками, и над публикой, которая в них поверила.»

Советский авангард пошел по пути Дали, восприняв его опыт как творческий метод, но не перенял его вкус и не понял юмор, то есть – со всей серьезностью.

* * *

Эрик Булатов и Илья Кабаков определяют два основных направления антисоветского авангарда – соцарт и концептуализм, хотя граница тут довольно размыта. Один глубокомысленно играет с советскими идеологическими символами, другой с элементами советского быта. Оба, если судить по вещам, в которых присутствует живопись, писать обучены. Обоих живопись не интересует. У обоих она тороплива, банальна и эклектична. Оба пытаются (и с успехом у публики) построить на бездарной живописи нечто более высокое, нежели живопись – философию, аллегории, прорыв в подсознание.

В 1994 году московское издательство ГАЛАРТ выпустило книгу Е.А. Бобринской «Концептуализм». Это альбом работ ведущих

московских концептуалистов и описание всего направления. Бобринская пишет: *«Во главу угла концептуализм ставит не традиционную ориентацию творчества на пластическую реализацию, а систему умозрительных и абстрагированных от материальной формы отношений и понятий, через которые может быть обозначено искусство»*. Булатов обозначает искусство следующим образом: в пародийно-соцреалистической манере исполняется изображение, используемое как фон для плакатных надписей через все полотно а la советский лозунг. Надписи находятся в прямой или парадоксальной связи с изображением. Например, на изображении зала с голосующими людьми написано трижды «Единоголосно». На идиллическом пейзаже – «Не прислоняться». Фотографический портрет Брежнева на фоне статуи Ленина и надпись «Революция – Перестройка».

Смешно. Но не очень. Так себе. Недостаточно смешно, чтобы быть карикатурой и слишком монументально для карикатуры исполнено. Станковая вещь – на века. При том, как уже говорилось, никаких – и намеренно! – пластических либо живописных достоинств.

Успех такой живописи был обеспечен. Во-первых, откровенный антисоветизм, что в советское время действовало всегда. Во-вторых, хорошо рассчитанная нестыковка жанров, недоговоренность, оставляющая место для неуверенности: а вдруг все гораздо глубже, чем кажется. И еще место для чисто интеллектуальных упражнений на тему о «визуализации слова», философском значении текста, оторванного от содержания и т.п. Нужна была большая гражданская смелость, чтобы сказать – всего лишь шутка и довольно банальная.

Где-то приходилось читать о различиях в профессиональной тактике фокусников-иллюзионистов и парапсихологов-экстрасенсов, практикующих телекинез и столоверчение. Первые, выступающие на сцене перед развлекающейся публикой, должны работать четко, быстро и безупречно. Неудачи публика не простит. Со вторыми все наоборот. Зрителей должно быть мало, атмосфера напряженная, медиум долго сосредотачивается, концентрирует энергию, много раз пробует, и когда, наконец, ложку не удастся сдвинуть из-за неправильного положения звезд, публика покидает измученного артиста в полной уверенности, что присутствовала при таинстве. Точно по Пригову – «имитация художественной деятельности некоей квазипрактической деятельностью.»

Интеллектуальных глубин в композициях Булатова не больше, чем в известной картине Крамского «Христос в пустыне». На обывателя и сегодня, как 150 лет назад, безошибочно ошеломляюще действует вопрос – «Что есть истина?». Крамской, правда, задавал его искренне и с надеждой отыскать ответ, а Булатов с лукавым кокетством и без такого намерения. Но главное различие в том, что Крамской хороший художник, а Булатов – плохой. Каменный, коричнево-розовый, почти сюрреалистический, напоминающий живопись Ива Танги, пустынный пейзаж Крамского ценен сам по себе, независимо от притянутой к нему расхожей философии. Чем ценна живопись Булатова, я понять не могу.

* * *

Живопись и графика Кабакова – явления то же порядка. Графика вполне качественная, но не более того. Как говорят в Средней Азии: – «У нас такой много!». В концептуализм ее превращают монотонная повторяемость сюжетов и псевдомногозначительные тексты. Как и у Булатова – вроде бы карикатуры, но недостаточно смешные и слишком трудоемкие.

Первый раз инсталляции Кабакова я наблюдал в Берлине в конце восьмидесятых. В зале рядами были натянуты веревочки, с подвешенными на них настоящими предметами советского коммунального быта 50-60-х годов в сопровождении надписей типа: «Кофейник Анны Ивановны», «Правая тапочка Сергея Петровича», «Ложка, потерянная Иваном Кузьмичом» (цитирую по памяти). По стенам густо висели листочки с совершенно нечитабельными и для чтения не предназначенными текстами, кажется философские беседы Ильи Кабакова с Борисом Гройсом. Между веревочками ходили молчаливые и подавленные непознаваемыми глубинами русской художественной души берлинские интеллектуалы.

В 1998 году в Берлине состоялась презентация очередной инсталляции Кабакова. В музейном зале были выстроены каморки, изображавшие советские больничные палаты, штук шесть или восемь. Входные двери настоящие, советские, с многослойной облезающей масляной краской. Внутри тумбочка, железная кровать с панцирной сеткой, больничным бельем и байковым одеялом. В каждой палате работающие в автоматическом режиме диапроектор и магнитофон. На стене за кроватью непрерывно

демонстрируются слайды – старые фотографии из семейного альбома Кабаковых под комментариев кого-то из членов семьи. Немецкая публика переходит из комнаты в комнату с тем же выражением лиц, что и десять лет назад – молчаливо-скучающе-подавленным.

Собственные ощущения от обеих инсталляций были, как это принято сейчас говорить, «неоднозначными». С одной стороны явное надувательство, с другой – «что-то в этом есть». Что есть – доходит не сразу. «В этом» есть настоящие, но изнасилованные вещи. Кабаков эксплуатирует естественный интерес к сохранившимся кускам исчезнувшего быта, особенно если быт свой и связан с детскими воспоминаниями. Или, наоборот, чужой и непонятный. Обычно этот интерес удовлетворяется историческими музеями. Этнографические выставки на тему «Коммунальная квартира пятидесятых» или «Быт советских кухонь» безусловно имели бы успех. Но лавры организаторов таких выставок несоизмеримы со статусом художника-концептуалиста. Поэтому Кабаков подвешивает вещи на ниточках и пишет дурацкие надписи, отчего вещи теряют ценность и чувство собственного достоинства. Для музея недостаточно серьезно, для театра недостаточно интересно. Снова провал между жанрами – в концептуализм.

Семейные фотоальбомы интересны всегда. В музее городского быта их демонстрация естественна и органична. Принудительный показ в навязанном ритме и фальшивом интерьере убивает подлинность и не прибавляет духовности. Можно, конечно, исходя из концептуального искусствоведения рассматривать концептуальную деятельность как «новый тип авангардного искусства» (Пригов), «стирание грани между искусством и жизнью», «пренебрежение пластическими ценностями перед словесным и умозрительным» (Бобринская). С другой стороны, можно и не покидать старой истории искусств, в которую до сих пор благополучно и без противоречий вмещалось все искусство человечества, всех эпох и всех стилей, от пещерных рисунков до самого крайнего абстракционизма. С этой точки зрения концептуальные акции Кабакова выглядят профессиональным надуванием щек, спекуляцией на предрассудках и доверчивости широких масс околхудожественных интеллектуалов. Невежество публики есть составная часть «концепции».

Доброжелательный анализ концептуализма (у Б. Гройса,

Е. Бобринской и т.д.) всегда и исключительно связан с ответом на вопрос – что хотел сказать художник своим произведением? В «старом искусствоведении» этот вопрос всегда был признаком вульгарного, школьного, дидактического подхода к искусству. Ценность пластических искусств не связана с ответом на этот вопрос, даже если художник и вправду хотел сказать что-то умное. Концептуализм – искусство демонстративно непластическое. Опирается на понятия, символы и намеки. Но возможности изобразительной дидактики невелики и давно исчерпаны... Да, советская власть была плохая, символика лживая, а народ забытый и неразвитый. Да, мир парадоксален. Да, слово, оторванное от смысла, выглядит смешно. Диапазон ответов невелик – либо банальности, либо каламбуры. Остается один путь для творчества – задавать вопросы как можно более замысловато. Такой получается бег за собственной тенью.

Жизнь концептуалиста тяжела. Джорджо Моранди мог всю жизнь писать одни и те же бутылки. Они всегда имели смысл и ценность. Этот смысл и эта ценность концептуалистам недоступны. Они не имеют права повторяться, должны непрерывно придумывать что-то новое. Как старик Синицкий из «Золотого тельца». Концептуализм Кабакова и Булатова парадоксальным образом сближается со своим врагом – сталинским соцреализмом, причем в его самом тупом и прямолинейном варианте. И там, и тут тотальный примат концепции над формой и пластикой. Только соцреалисты честнее. Налбандян и А. Герасимов давали на идеологические вопросы прямые и грубые ответы, а концептуалисты жмурятся и подмигивают, намекая на открывшиеся им глубинные тайны бытия.

3

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ КАК СПОСОБ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

Нетрудно вычислить исходный жанр из которого вылупился антисоветский авангардизм – капустник. В пятидесятые еще годы независимые художники собирались в подвалах-мастерских, выпивали и глумились над соцреализмом. Шутили незамысловато, на уровне пририсовывания усов к газетным портретам и передразнивания казенных сюжетов. Масштабность шуточкам

придавал не их уровень, а риск, превращавший их в политико-художественные акции. Думаю, что для самих будущих концептуалистов оказался неожиданным их успех на западном рынке, под который задним числом пришлось подверстывать идеологию, терминологию и философию.

«Концептуальные произведения вызывают определенный дискомфорт у зрителей не столько за счет непривычного или раздражающего внешнего облика, но главным образом за счет иных правил их восприятия, нарушающих укоренившуюся привычку общения с искусством. Они не опираются более на непосредственное восприятие, не взывают к эмоциональному сопереживанию, не апеллируют к традиционным эстетическим оценкам. Они, похоже, ничего не выражают в том смысле, что лишены специфических примет художественной выразительности. Они требуют от зрителей не столько суммы знаний по теории и истории искусств, сколько аналитических и психологических усилий. И даже конкретнее – требуют предрасположенности сознания к саморефлексии.» (Е. Бобринская).

Если заменить в этой цитате понятие «искусство» на понятие «наука», то получится инструкция по введению в парапсихологию, пособие для поклонников Кашпировского. За текстом слышится призыв, мольба к зрителю: не судите, забудьте все, что вы знали об искусстве, не ищите пластики, эмоций, выразительности, индивидуальности, умения, чувств. Художник все равно не пытается передать собственные ощущения. Он обозначает. А вы анализируете. Что? – Самих себя. Главное – предрасположенность к саморефлексии. Не удалось погрузиться в себя – сами виноваты. Художник ни при чем. Он только обозначил.

Если зритель не склонен к саморефлексии и не забыл историю искусств, концептуализм бессилен. Капустник остается капустником. Вот описание нескольких известных концептуальных произведений нескольких известных концептуалистов:

Дмитрий Александрович Пригов. Банка. 1974. Настоящая консервная банка, оклеенная бумагой и покрытая подписями разных людей. В нее воткнут плакатик с надписью пишущей машинкой: «Банка подписей за полное и безоговорочное разоружение Америки».

Группа «Гнездо». Железный занавес. 1976. Прямоугольный кусок жести с белой трафаретной надписью «Iron Curtain».

Группа «Гнездо». «График истории». 1976. Лист изображает гра-

фик. По горизонтали годы – с 1898 по 1970. По вертикали – месяцы, с января по декабрь. Точками отмечены даты партийных съездов. Даты соединяет красная линия.

Эрик Булатов. Опасно. 1973. Сине-зеленый, намеренно пошло написанный идиллический пейзаж с деревьями и ручейком. По периметру холста плакатная надпись красными буквами «Опасно» (4 раза).

Игорь Макаревич. Шкаф Ильи. 1987. Деревянный шкаф образца 40-50-х годов. Когда открыта дверца виден внутри портрет сидящего Ильи Кабакова, довольно сентиментально и реалистично написанный в стиле раннего Бродского. Вид задумчивый.

Игорь Капустянский. Поврежденный портрет. 1987. Потрескавшийся, измятый, с ободранными краями холст со стилизацией под официальный портрет 18 века. Насколько можно судить, стилизация грубая.

Дмитрий Зыкалов. Мундир майора. 1986. Вырезанный из досок и грубо раскрашенный военный мундир с вешалкой.

Николай Овчинников. Год 1937/1987. Во всю высоту холста плакатным шрифтом изображено число 1937. Внутри цифр, как бы видная через прорези, грубо написана копия картины Шишкина «Мишки в сосновом бору». В качестве фона – Кремль.

Виталий Комар и Александр Меламед. Лозунг. 1972. На красном фоне белыми буквами надпись «Вперед к победе коммунизма. Комар и Меламед».

Светлана Капустянская. Пейзаж. 1988. Сине-зелено-фиолетовый, довольно едкий по цвету холмистый ландшафт в мареве. Мареве образовано густыми строчками бессмысленного текста, которыми весь холст исписан сверху-донизу.

Римма Герловина. Душа. 1974. Белая картонная коробочка-кубик с крышкой. На крышке надпись «Душа. Не открывать, а то улетит». На дне внутри надпись «Вот и улетела».

Римма Герловина. Валерий Герловин. Зеркальная игра. Яблоко. 1977. Две фотографии. На первой изображена Римма Герловина, кусающая яблоко. На второй она же приподнимает майку – на животе у нее нарисован кишечник с желудком, в желудке – яблоко.

С точки зрения «старого искусства» говорить здесь особенно не о чем. Пластические и технические особенности произведений полностью исчерпываются описанием (концепцией). Любой желающий может, пользуясь описанием, изготовить эти же объек-

ты и не хуже первоначальных авторов. Для «старого искусства» это – катастрофа, уровень ниже допустимого. К тому же и юмор очень уж непритязательный, одноразовый.

А вот, что получается, если забыть историю искусств и включить саморефлексию:

«В творчестве Кабакова сам процесс обрамления рамкой какого-то пространства занимает существенное место. При этом важно отметить сопутствующий мотив пустого пространства внутри рамы. Пустота, обведенная рамкой, переводит внимание не на фрагментирование чего-либо, заключенного в нее, но на само действие обрамления как средство обнаружения и очерчивания целостного пространства, в котором будет возможно увидеть что-то и в котором может возникнуть смысл.» (Е. Бобринская).

Выключаем временно саморефлексию и задаем вопросы: – что именно можно будет увидеть в пустом пространстве, переведя внимание с него на действие обрамления? Возник в нем смысл, по мнению искусствоведа, или пока еще нет? Если нет, то когда возникнет? Зачем концентрировать внимание на самом действии обрамления пустого пространства? Это приятно, или красиво, или мудро, или вкусно, или ново, или увлекательно, или возбуждает? Или парадоксально и потому будит мысль? Не слишком ли простая концепция – перевел внимание на действие обрамления – и все?

Выключаем искусствоведческую амнезию и задаем наводящий вопрос – может быть нас хотят убедить в красоте чистых и пустых геометрических поверхностей? Немножко поздно. Современное искусство открыло это для себя лет сто назад. На эстетических и эмоциональных качествах чистых плоскостей и объемов строилась эстетика конструктивизма и абстракционизма 20-х годов. Баухауз, Малевич, Мис ван дер Роэ, Мондриан... Правда, мэтры того, настоящего авангардизма концентрировали внимание на результате работы с пространством. Мастера нынешнего отказались не только от результата, но и от самой работы, ограничившись ее «обозначением». Зачем?

Нет ответа. Концептуальное искусствоведение лишних вопросов не задает, а с точки зрения традиционного концептуализм неменяем. Или косит под такового.

Прошу прощения за обильное цитирование. Тому есть причина. Автор книги «Концептуализм» – вопреки законам профессии –

рассматривает объект изучения не со стороны, а изнутри. То есть не изучает его, а озвучивает и толкует метафоры концептуалистов в концептуальном же духе. Поэтому, цитаты из Бобринской играют в данном тексте роль иллюстраций и каши испортить не могут.

* * *

Борис Гройс в своей книге «Стиль Сталин» (в сборнике «Утопия и обмен», Москва 1993 г.) подробно анализирует картину Эрика Булатова «Горизонт»: *«На картине изображена в несколько остранинной, фотореалистической манере группа характерно «посоветски» одетых людей, идущих по пляжу в направлении моря, к морскому горизонту. Самой линии горизонта, однако не видно, поскольку она закрыта плоской супрематической формой, как бы наложенной на эту конвенциональную картину и пересекающей ее всю по горизонтали. При ближайшем рассмотрении форма эта оказывается орденской ленточкой ордена Ленина... Движение к морю, к солнцу, отсылает к оптимизму соцреалистического искусства сталинского времени... Орденская лента, закрывающая горизонт, как бы преграждает группе движение... В то же время, будучи просто наложенной на картину, она, при другом прочтении, сигнализирует зрителю фиктивный плоскостный характер картины, разрушает пространственную иллюзию, заданную движением группы и тривиально реалистическим построением перспективы... Топос горизонта играет большую роль в мышлении и практике русского авангарда...»*

Далее идет пространный экскурс в значение понятия «горизонт» для Ницше и Малевича, о различиях в философском восприятии «горизонта» Малевичем и Булатовым: *«...супрема Малевича не просто цитируется Булатовым, а как бы идеологически расшифровывается, проявляется, совпадая с высшей наградой сталинской эпохи: орден Ленина как символ победившего социального пространства как бы конкретизирует «абстрактные» малевичевские формы.»*

И наконец: *«Не желая быть демиургом и идеологом, он (Булатов) тем не менее сознает, что является им, и потому, не отказываясь от навязанной ему роли, изнутри анализирует ее, демонстрируя переходы от визуального образа к идеологическому манипулированию – и обратно. Исчезновение горизонта принесло вместо освобождения необходимость каждый раз заново его создавать.»*

Какой уж там демиург... Картина Булатова, на мой взгляд, не дает оснований для погружения в философские и психологические глубины. Нехитрый каламбур – орденская планка, закрывающая горизонт, – исполненный средствами безвкусной стилизации. Впрочем Гройсу виднее. Каждый играет, чем хочет. Сознание трехлетнего ребенка – это тоже мир, достойный исследования.

Интересно другое. Творец по своему статусу должен думать о завиральном. Искусствовед права на это не имеет. Профессия другая. В тексте Гройса нет ни слова о том, хорошая эта картина или плохая. Нравится она самому Гройсу или нет. Какие у нее достоинства, какие недостатки. Почему именно творчество Булатова послужило поводом для анализа. Чем Булатов значительнее и крупнее своих коллег.

Странное искусствоведение. Оно изначально отказывается от профессионального права судить и рвется в соучастники, в медиумы. Претендует на то, чтобы быть творцом мифа наравне с объектами своего же исследования и за это заранее дает им, объектам, индульгенцию на грехи качества. Обещает с этой стороны никогда не заходить.

* * *

Кстати, о лексике концептуального сообщества. Высокомерное балагурство отучает глядеть на себя со стороны и глушит естественное чувство юмора. Нет того концептуалиста, который не хочет стать демиургом. Иначе не заметят. Демиург Булатов, демиург Кабаков...

Демиург Булгаков – как-то не звучит. В мире Булгакова, Пастернака, Фалька демиургов нет, а трагедии непридуманные.

Передовое антисоветское искусство возникло как плоть от плоти передового советского. Как его негатив. Внутренняя цензура на авангардистских выставках была такой же определенной, как на официальных – но обратная. Апологеты и отрицатели неподцензурной живописи пользовались одними и теми же источниками вдохновения – западными журналами. Расхожее представление

о том, что новый авангард генеалогически связан со старым, 20-х годов, ошибочно. Соцарт и концептуализм такой связи не обнаруживают. Революционное искусство 20-х годов – явление в первую очередь эстетическое. Неоавангард – наоборот – движение социального протеста в художественной оболочке. Первые занимались пластикой, считая себя социальными революционерами. Вторые занимаются социальными декларациями и называют это искусством.

Оба советских художественных сообщества в 70-80 годы, официальное и неофициальное, строились на идеологической основе. В обоих отсутствовала независимая художественная критика, была только апологетическая. В казенном искусстве внутренняя иерархия не зависела от отношения критики. Та только фиксировала кадровые назначения. В подпольных литературно-критических журналах, которые мне приходилось видеть в застойные годы – «Часы», «Обводный канал» – критика предвосхищала будущее концептуальное искусствоведение – философские экскурсы в душевные движения авторов при полном отсутствии художественного анализа и критического аппарата. По человечески это можно было понять. Я жил тогда в Ленинграде, даже работал в 1981-84 гг. в эпицентре неконформистской культуры – кочегаром в газовой котельной под руководством покойного ныне поэта Андрея Крыжановского. В нашей котельной № 3 Института им. Герцена служили два поэта, архитектор, физик и ювелир. Тогда было хорошо видно, как от одной неофициальной выставки до другой обвальное росло число антисоветских художников-неофитов, по большей части эпигонов тех или иных направлений западной живописи. С самостоятельным художественным мышлением и достаточной художественной культурой среди них были единицы. Эти ребята попадали в мертвое критическое пространство. Официальная критика их не замечала, а критиковать их в самиздате было бы жестоко – и так у них жизнь не сладкая. Да и не было вроде желающих этим заниматься. За пятнадцать лет, с середины семидесятых по конец восьмидесятых я могу вспомнить пожалуй только одно исключение из общего выставочного правила – крупный, серьезный и независимый художник Соломон Россин. Впрочем, может быть, мне не очень везло.

Структурные различия формального и неформального искусств были продолжением их сходства. Союз художников допускал на свои выставки стилевые новации в узких, строго регламен-

тированных границах при тщательном соблюдении сюжетно-идеологических схем. Допускались и идеологически нейтральные жанры – просто портреты и просто натюрморты. Параллельно с идеологической системой ценностей существовала полулегально и настоящая, пластическая. Гамбургский счет инстинктивно сохранялся. Даже в самое страшное сталинское время у художников оставалось поле для маневра. Поэты отступали в переводы. Живописцы в пейзажи и книжную графику.

Нонконформистов – именно в силу нонконформизма – объединил чисто идеологический подход к выбору стилей. Отступать было некуда. Декларативность противоречила пластическому мышлению. Неоавангардисты вывели его в своей среде из обращения гораздо быстрее и надежнее, чем Отдел агитации и пропаганды – в своей.

Союз художников предъявлял жесткие профессиональные и технические требования к своим членам. Дилетантов отметали так же решительно, как диссидентов. Андерграунд не предъявлял никаких технических требований. Только смелость, до поры до времени, и остроумие – либо претензия на него.

Демонстративная работа в запрещенных модернистских стилях довольно быстро сошла на нет. В ней не было ничего специфически антисоветского. Она требовала определенной художественной культуры и предполагала бескорыстную углубленность в живопись как таковую. Для дилетантов было недоступно первое, для профессионалов, достигших своего потолка, бессмысленно второе. И те, и другие искали выхода в чистую духовность. И нашли. В восьмидесятые годы основным жанром нонконформистского искусства стали антисоветские дразнилки.

* * *

«Основной прием построения соцартистских работ принято интерпретировать как деконструкцию советской мифологии и символики. Этот прием лежит также в основе многих концептуальных произведений. В свою очередь использование соцартом идеологической символики сообщает этому направлению концептуальный оттенок. Весьма сложно жестко определить направленческую принадлежность таких работ, как «Лозунг» В. Комара и А. Меламеда, «Железный занавес» или «График истории» группы «Гнездо», многих работ Э. Булатова и Д. Пригова.» (Е.Бобринская).

Все-таки попробуем. «Деконструкция советской мифологии и символики» – это, выражаясь простым языком, пародия (сатира, карикатура). Такой жанр отсутствует в концептуальном искусствоведении, но присутствует в обычном. Жанр древний, существующий и поныне. В нем работают мастера – Вячеслав Сысоев, Михаил Златковский, Сергей Тюнин. Жанр трудный и неблагодарный. Требуется постоянно напрягаемого остроумия, тонкой и изящной работы, не предполагает персональных выставок и презентаций. Жанр для немногих людей с редко встречающимся талантом. Соцарт – это как бы попытка обмануть жанр, объехать на кривой. Сделать его одновременно монументальным, выставочным и доступным всем желающим. Само по себе пародирование идеологической символики в те времена, когда она и так уже потеряла всякое уважение – не Бог весть какая интеллектуальная задача. Полагаю, что Е. Бобринская права. «Направленческую принадлежность» упомянутых ею работ концептуалистов определить довольно легко, но только извне, а не изнутри концептуального сообщества. Это декорированные под всамделишное искусство среднего качества карикатуры. Бытовые шутки, вполне одноразовые, исполненные в несвойственной карикатуре монументальной технике и с несвойственной карикатуре многозначительностью. Полагаю, что ложной. Неложная многозначительность называется остроумием, исключает понты и надувание щек.

Еще одна особенность. Видимо, из-за страха показаться слишком смешным, а от этого недостаточно концептуальным, соцарт лишает себя, как правило, обязательного качества хорошей карикатуры – чисто графического остроумия. Акцент всегда делается на смысловом.

* * *

На долю соцарта выпал короткий век. Несколько застойных лет, несколько перестроечных – и все. Впрочем, мировой успех был. И рыночный тоже. Издеваться над советской властью и советскими догмами в картинках было в брежневские времена не всегда безопасно, но всегда легко. Этим оружием – насмешкой – противник не владел. Вскоре гонения и вовсе прекратились, а западный рынок, наоборот, открылся. Наиболее расторопные и удачливые шутники вышли в генералы и мировые знаменитости. В девяностые годы началось умирание. Удар пришел неожиданно

от казалось бы давно уже покойного врага, на костях которого так хорошо и легко плясалось. Официальный соцреализм сдался во время перестройки без сопротивления, заполз в запасники и замер там, освободив рынок, прессу и выставочные залы заклятому врагу, глумящемуся над самым дорогим – творческим методом, стилем и идеологическим содержанием. Что мог противопоставить этому напору вялый, бесцветный и лживый брежневский официоз?

Брежневский не мог, а сталинский смог. Из запасников стала появляться настоящая советская живопись времен расцвета империи. Пародийные поделки не выдержали сопоставления с прототипом. «Искусство из протеста» было не менее идеологизировано. Но настоящая тоталитарная живопись оказалась сильнее, глубже, трагичнее, злее. И разнообразнее. И качественней. И правдивей.

Александр Глезер, специалист по нонконформизму, издатель и галерист, в статье «Соцреализм не пройдет» (МН, № 35, 1994) противопоставил «настоящих» подпольных художников «фальшивым» официальным – Лактионову, Герасимову, Налбандяну, Бродскому и т.д. «...создававшим лживое искусство, то есть бывшим искусными ремесленниками». Это противопоставление – редкий для нонконформистского искусствоведения экскурс в обычную историю искусств – абсолютно не работает.

Добросовестный реалист Бродский так и остался до конца жизни добросовестным реалистом, несмотря на все советские звания. Лактионов был принципиальным натуралистом и страдал за принципиальность. Не ясно, что в их живописи лживого, даже в портретах Ленина работы Бродского. Разумеется, ни Александр Герасимов, ни Налбандян добрых слов не заслуживают. Но ими советское искусство не исчерпывается. Куда отнести живопись Самохвалова или Петрова-Водкина с его «Смертью комиссара»? Как быть с бубнововалетчиками, ставшими чуть ли ни все к сороковым годам мэтрами и профессорами, с Кончаловским, Машковым, Лентуловым, Осмеркиным? А шестидесятники не ушедшие в андерграунд – Виктор Иванов, Жилинский, Попков – тоже лживые ремесленники? Не проходит классификация. Похоже, что стоит она не дороже советского разделения художников на социалистических и буржуазных.

Статья Глезера – протест против предположения, что соцарт внутренне исчерпал себя и начинает гибнуть. Главный аргумент

Глезера – этого не может быть, потому что нонконформизм хорошо идет на западном рынке. Далее следует длинный список продаж. Вот уж, право, стоило столько лет бороться против продажного официального искусства, чтобы теперь на свободе использовать рыночные аргументы вместо художественного анализа. А Ван-Гога покупали? Ни секунды не сомневаюсь, что мировые цены на Эрика Булатова выше, чем на Фалька. Это ничего не говорит о Фальке, но вполне достаточно о рынке.

Воспользуемся еще раз запрещенным при обращении с авангардизмом приемом (запрещенным самими авангардистами) и вспомним обычное искусствоведение. Уровень произведений искусства определяется не нравственностью содержания, а силой чувств. Какая бы идеологическая гадость ни будила в художнике творческий импульс, если художник сильные чувства действительно испытывает и адекватно пластически выражает – искусство правдиво. Остальное – вопрос способностей и умения. Если не испытывает и соответственно не выражает, то тоже правдиво. Но уровень другой – гораздо ниже, и умение не спасет. Творческие способности в первую очередь состоят из умения испытывать сильные чувства.

По всем этим показателям сталинский соцреализм (в наиболее выразительных образцах) намного превосходит соцарт (тоже в лучших, то есть самых известных вариантах). На фоне полотен сталинских мастеров (упомянутых выше и многих других) сочинения Булатова или Комара с Меламедом выглядят халтурой – почти всегда технической и всегда эмоциональной. Холодное балагурство против сильных страстей. Поверхностное стилизаторство против настоящего стиля.

Соцарт – порождение циничной брежневской эпохи. Издеваясь над действительно продажным брежневским соцреализмом он так и остался на его же чувственном уровне. По-настоящему переработать сталинскую художественную культуру ее же средствами можно было только изнутри, оставаясь на ее уровне по масштабу, технике и силе чувств. И по настоящему рискуя. Такой «соцарт», как ни странно, тоже имел место как составная часть сталинской культуры.

В Русском музее хранится грандиозное (3,5 x 4 м) полотно Василия Яковлева «Спор об искусстве», 1946 года. Изображена якобы студия художника наполненная предметами абсолютно несовместимыми с советским бытом – ковры, антикварная мебель,

барельефы, роскошные ткани, статуэтки, серебряные вазы, букеты цветов. Мольберт. В помещении полумрак. На возвышении, устланном коврами в трепетной позе сидит рубенсовская по формам и по-рубенсовски написанная обнаженная модель – золотисто-светящаяся, в ямочках и складках. У подножия возвышения на роскошном ковре валяется сброшенное, чисто советское белье. Несколько теряющихся в полумраке мужчин несоветской внешности с кистями и палитрами и с не по-советски страстными жестами изучают модель. Технический уровень – сказочный. Картина двусмысленна и иронична до предела при полном формальном соответствии невинной теме. Даже слишком невинной для того времени. Картина советская, сталинская, и одновременно в ней абсолютно все не стыкуется с временем – антураж, детали, композиция, персонажи, модель, идея (в 1946 году споры об искусстве в СССР проходили совсем не так). Даже стиль – сочный, предельно отточенный академизм, совершенно непохож на тупой сталинский неоклассицизм пополам с передвижничеством. Анализировать ее можно еще долго. Трудоемкость полотна, явно заказного, вполне соответствовала риску, которому подвергался автор, если бы Сталину пришло в голову то, что написано выше. В Русском музее есть еще одно большое полотно Яковлева «Старатели пишут письмо творцу Великой Конституции» 1937 – откровенная до наглости пародия на «Запорожцев, пишущих письмо турецкому султану» Репина.

Этот уровень авангардистскому соцарту недоступный.

5

МОТИВЫ ДВИЖЕНИЯ

Претензия на существование «нового авангардного искусства», неподсудного и невменяемого с точки зрения обычной истории искусств есть главная концепция движения. Зритель должен с ней изначально согласиться, не задавать лишних вопросов и погрузиться в саморефлексию. Правила игры обязательны для всех участников – создателей, потребителей и изучателей искусства. Этот прием свойствен, кстати, всем идеологиям, в том числе и тоталитарным. Идеологию допустимо проверять только внутренними, самой идеологией отработанными критериями. При критике со стороны идеология, как правило, рушится, но сам такой

критик воспринимается как враг, дискутировать с которым по внутренним правилам недопустимо. Концептуализм вписывается в систему, поскольку он по определению занятие чисто умственное и оперирует, согласно Е. Бобринской, «умозрительными построениями», а не пластикой.

Ладно. В конце концов любое искусство претендует (не всегда по праву), чтобы его судили по его собственным законам. Можно попробовать разобраться в системе концептуальных критериев исходя из концептуальных же построений.

Не получается! Концептуальное искусствоведение не анализирует концептуализм, а вполне в духе самого явления – «обозначает». Получается, что все концептуальные акты равновелики и друг с другом даже внутри системы не сравнимы и не соизмеримы.

Е. Бобринская: *«Илья Кабаков организует свои работы по принципу простого собирания, каталогизирования и отстраненной демонстрации материала... Объективная бесстрастная демонстрация, своего рода позитивизм поп-арта, соединяется московскими концептуалистами с материалом и образами нигилистического искусства – дадаизма»*. Автор ни слова не говорит о том, в чем ценность этой деятельности. Почему бессмысленное и бесстрастное каталогизирование лучше, чем бесстрастное же, но осмысленное – в музеях. Почему первое есть творческий акт и искусство, а второе – нет. Какие душевные струны зрителя (и художника, естественно) этот процесс задевает. И что, наконец, заставляет исследователя думать, что Кабаков – мировая знаменитость в этой области – каталогизирует лучше, чем другие, раз в процессе заведомо отсутствует индивидуальность и эмоциональное напряжение. Неужели только потому, что Кабаков придумал этот нехитрый фокус раньше всех? Похоже на то.

Исследователь концептуализма сама ни на шаг не отступает от руководящей идеи. Она бесстрастно каталогизирует не только способы и процессы изготовления объектов, но также слова и понятия. Никакого анализа.

Е. Бобринская: *«Подобно тому как речь, лишённая своего субъекта, обнаруживает зыбкость и условность управляющих её логических связей, так и освобожденные от субъективности художников картины или объекты концептуалистов обнаруживают алогизмы и абсурд»*. Не очень внятно. Слово, оторванное от контекста действительно есть бред. Картина, «освобожденная» от субъективности, то есть индивидуальности, художника в первую

очередь банальна. Видимо, автор хочет сказать, что объекты концептуалистов не только банальны, но и бессмысленны.

Е. Бобринская: *«Для московского концептуализма абсурд – один из основных компонентов, определяющих своеобразие его проблематики и стилистики. Мир абсурда – это мир, неукладывающийся в слово, мир, не совпадающий со словом. Мир, в котором слово, отпущенное на свободу, обнаруживает свою иррациональность».*

Да, мы знаем, что слово, оторванное от смысла – бессмысленно. Да, мы знаем (еще из обычного искусствоведения), что абсурд может обладать парадоксальной художественной ценностью, превратившись в элемент художественной игры. Но при этом сама игра не должна быть бессмысленной. В ней должен быть, если не здравый, то эмоциональный смысл. Она должна хоть кого-то возбуждать. Если игра с абсурдом абсурдна, то абсурд остается всего лишь тем, чем он был изначально – глупостью. Слова «проблематика» и «стилистика» использованы автором, видимо, случайно. Непроизвольно выплыли из старого искусствоведения. Какие могут быть проблемы в иррациональном мире абсурда!

Е. Бобринская: *«Одной из особенностей абсурдизма в московском концептуализме можно считать его как-бы непреднамеренный характер. Абсурд никогда не реализуется у концептуалистов на абстрактно-знаковом уровне. Он возникает через обнаружение в повседневности своеобразных пустых моментов, когда взгляд просто упирается в какой-то банальный предмет или бесцельно скользит по окружающему. Он возникает произвольно как результат невозможности определенного суждения о концептуальных произведениях и проговаривания их смысла.»*

Насчет «невозможности определенного суждения» – это автор, я думаю, на слово поверила концептуалистам. Но картина выходит любопытная: бессмысленное перебирание бессмысленных предметов с упертым в пустое место взглядом. В этом есть свое очарование – мир юродивых, загадочно-притягательный для обитателей реального мира.

Но... «как-то трудно поверить в эту латынь». Мешает предусмотрительно оставленное автором «как-бы». «Как-бы непреднамеренно». Тут вспоминаешь, что деятельность концептуалистов на самом деле совсем не ограничивается каталогизированием, перебиранием и обозначением. Юродивые не издают книг про себя, не организывают презентации и выставки. Не выстраи-

вают профессиональную иерархию. Одно из двух – либо менеджмент, либо перебирание. Если бесцельно скользящий взгляд за пределами выставки немедленно становится осмысленным и деловым – что-то тут не то.

Можно поверить и в абсурдное искусство. В конце концов, бывает же живопись шимпанзе. Но, как минимум, шимпанзе должен быть настоящим!

* * *

Виктор Шендерович в статье «Про это» (МН, № 40, 1996) описал то же самое явление, но в других видах искусств: «...Отрицая критерий занимательности, мы окончательно теряем систему координат, повисаем в искусствоведческом космосе, где нет ни верха, ни низа, – точнее они находятся там, где заблагорассудится первому встречному шарлатану, выучившему наизусть слова, слова, слова... Нет ни рифм, ни ритма, ни смысла? – как бы верлибр; не простроен сюжет, вял диалог? – новая проза; вянут уши? – конкретная музыка.. Нынешние капитаны Лебядкины читают лекции на факультетах славистики.

Разумеется, не все, что вызывает интерес искусством является; разумеется, у занимательности Гашека и у занимательности Джойса различные механизмы, все так... Но то, что непременно нуждается в посредничестве музыка-, театр-, литературо- и прочих ведов, то, что не способно проникнуть в сферу эмоционального, непосредственного опыта человека, – ЭТП, по моему нескромному мнению, искусством заведомо не является.

А что же ЭТП тогда? Не знаю. Знаю, что Это не может ни потрясти человека, ни рассмешить, ни растрогать его.

ЭТП не имеет отношения к душе.

Поэтому не все ли равно, как ЭТП называть?»

6

БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ

Постсоветское искусство во всех своих вариантах – порождение присоветского (как советского, так и антисоветского). Корни перепутаны и друг от друга почти не отделимы. Авангардисты переняли у казенного искусства идею идейности, презрительно-

безразлично обходясь со всем, что связано с техникой, профессиональной подготовкой и пластическим творчеством. Советской плакатной идеологии они противопоставили антисоветскую концептуальную (концептуальная идеология – тавтология вполне в концептуальном духе).

Другое направление, из того же источника, но глубоко враждебное авангардизму и никак не менее популярное в народе – Глазунов со своей истинно русской академией. Эти развили советский стиль и советскую идеологию, существенно их улучшив. Идеологию подправили – советский патриотизм переработали в национальный русский. Стиль довели до полного совершенства. Предшественники Глазунова, и приличные, вроде Самохвалова и Дейнеки, и совсем прожженные, вроде А. Герасимова, всегда испытывали – в силу своей образованности – внутреннюю раздвоенность. Ощущали несовпадение между приходящим сверху «социальным заказом» и усвоенными во время обучения навыками. Власть – а наверху сидели люди простые – требовала агиток. Академики пытались при этом – в меру сил и представлений – еще и живописью заниматься. Этот «формалистический» комплекс ощущается почти у всех. Так вот, Глазунов его лишен начисто. Он принес в русскую живопись то, чего безуспешно добивались от нее теоретики и идеологи соцреализма – вульгарность. Живопись Глазунова вульгарна со всех точек зрения: прямолинейно вульгарны сюжеты, вульгарен слащавый стиль, вульгарен метод – перерисовывание чужих композиций и фотографий. Полотна Глазунова красивы, идеологически насыщены и зовут к борьбе. Они полностью свободны от совести и вкуса. Можно сказать, что его творчество – это окончательная, хотя и слегка запоздалая, победа соцреализма. Впрочем, может и не запоздалая вовсе. Может быть, соцреализму на роду было написано, что его стиль и метод обретут истинное воплощение в сочетании не с коммунистической идеологией, а с национал-патриотической.

Девяностые годы показали, что реальные традиции пластического русского искусства – от Левицкого до Кандинского, традиции просто живописи и просто скульптуры без идеологий, концепций и сверхзадач, фактически не пережили середины века. Заглохли вместе с хрущевской оттепелью. Одиночки, даже знаменитые – Рабин, Шемякин, – не в счет. Не они определяют профессиональную атмосферу.

Передо мной изданная в Англии на немецком языке в 1989

году очень подробная книга Мэттью Боуна «Современное русское искусство». Представлен весь спектр: от Глазунова до самых отможенных концептуалистов. Внутри диапазона встречается хорошая живопись, со вкусом и качеством – Максим Кантор, Лев Табенкин, Эдуард Штеренберг, Татьяна Назаренко, Наталья Нестерова. Но пластика всегда, без исключений, несамоценна. Она подчинена умозрительному – идее, трюку, приему, концепции, стилизации, просто шутке. И на этом теряет первородство.

Фактически, концептуализм возродил традиции передвижников с их убежденностью в примате идейно-социального значения искусства над пластическим. Передвижники ошибались, как это быстро выяснилось. Казалось бы, их опыт следует учесть, но эту возможность «новый авангард» отбросил вместе с традиционной историей искусств. Неавангардисты отбросили тоже. Сиюминутное глумление над умирающей советской мифологией стоит высокопарного народничества передвижников. Идеологически передвижники с концептуалистами на равных. Качество живописи – несоизмеримо.

От концептуалистов тянется еще одна ниточка в прошлое – в двадцатые годы. Не к Кандинскому или Малевичу (у тех была другая профессия), а к левовцам, «союзу графоманов» вокруг Маяковского – по безжалостному выражению Юрия Карабчиевского.

«...Представим себе молодых энергичных людей, не обладающих никакими особыми талантами и мечтающих о всемирной славе. Этой славы, по их наблюдениям, с минимальной затратой сил и времени можно достичь в искусстве. Осмотревшись, они убеждаются, что искусство неохватно велико и разносторонне. С их способностями, каждый из них это чувствует, можно выскочить разве что маленьким прыщиком на его бесконечной поверхности. Это, конечно, никуда не годится, надо что-то делать, где-то искать. И они находят. Идея приплывает к ним из Италии от благословенного Филиппо Томазо Маринетти. В его футуристическом манифесте содержалось буквально все, что требовалось и даже кое-что сверх... Но главное, что подсказал Маринетти, был единственный способ завладеть миром: надо вывернуть общественный вкус наизнанку, так чтобы талант оказался бездарностью, а бездарность – талантом. Эта формула обещала великие блага, и она, никогда не произнесенная в чистом и обнаженном виде, явилась основополагающим руководством ко всей деятельности футуристов. Все дальнейшее естественно и неотвратимо. Эпатаж

общества, дискредитация искусства (старого, то есть иными словами, всего), а также всех духовных ценностей, на которых это искусство строилось... Итак, поход на литературу, великий поход графоманов...» (Ю. Карабчиевский, «Воскресение Маяковского», Мюнхен, 1985, стр. 85-86).

Очень похоже на нынешние времена. Только в качестве лидера не Маяковский – Крученых. Аналогия по определению не может объяснить всего, но кое-что объясняет. Футуристы травили «старое искусство», концептуалисты его усиленно не замечают. Средства зависят от эпохи. Цели у тех и других – общие, по-человечески понятные. Вырваться на рынок и уйти из под критики. И тем, и другим это удалось.

Предвижу возражение – русский концептуализм есть часть общемирового художественного процесса и потому закономерен. Согласен. Действительно часть. Сходство налицо. У западных концептуалистов очевидно были свои, похожие причины для выворачивания общественного вкуса наизнанку. И свои средства. Например, студенческая революция 68 года, уничтожившая под предлогом введения свободы творчества почти целиком профессиональное художественное образование (по крайней мере, в Германии). Копаться в творчестве Энди Уорхолла скучно. Пускай этим свои занимаются. Что же касается влияния западных мастеров инсталляций на отечественных, то полагаю, что оно ограничилось трансфером удачной маркетинговой идеи. Русские вышли на подготовленный рынок прекрасно зная чего от них ждут. Плюс ореол «нонконформизма».

* * *

Думаю, что самый заурядный, шишкинского толка ландшафтик девятнадцатого века будет иметь ценность всегда. И не только антикварную. Человеческая природа не меняется. Добросовестность, искренность, удовольствие от работы с красками и просто от красивой вещи или пейзажа – вечно ценные художественные добродетели. Если еще и способности сверх нормы – тогда мы имеем дело не с Шишкиным, а с Ван-Гогом. Уровень разный, но суть та же.

Приговская банка с подписями или кабаковские тапочки на веревочках ни одним из этих достоинств не обладают. С точки зрения истории искусств. Этим она концептуалистам и опасна.

Парадокс, но единственное советско-постсоветское худо-

жественное направление, о котором можно сказать «чистая безыдейная живопись» – это шиловский салонный натурализм. Бездарная, но живопись. Глупая, но честная. Можно понять людей, сделавших Шилову репутацию великого живописца. Для того, чтобы вывести из употребления историю искусств напряженно трудились несколько поколений советских и антисоветских художников.

Но душа просит.

Подготовленная душа просит хорошего искусства.

Неподготовленная – просит красивого.

Дезориентированная удовлетворяется китчем.

7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я учился в самом, наверное, реакционном (и самом древнем) художественном ВУЗе СССР, в ленинградском Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина (бывш. Академии Художеств) в 1973-77 годах. В классическом вестибюле конца восемнадцатого века всегда висела стенная газета «За социалистический реализм».

Это было странное, переходное и малоприятное время. На глазах вымывало остатки темпераментной оттепельной культуры. Нарастала тупая стабильность, названная впоследствии застоем. Для нас, студентов-архитекторов, это означало постепенный стилистический переход от советской, но современной архитектуры к брежневскому монументальному ампиру. И к безудержным и беспринципным стилизациям под исторические стили. История советской архитектуры преподавалась не просто плохо, а чудовищно. Читавший ее нам профессор (впоследствии академик) Игорь Александрович Бартенев не скрывал своего презрения к Малевичу, и исключительного пиетета перед Жолтовским. На студенческих подачах и защитах дипломов стали появляться портики с коллонадами и статуями в нишах, невысказанные в конце шестидесятых.

Выставки дипломных работ живописного факультета всегда были аттракционом – чистая кунсткамера. Ритуальная коллекция странных, бессмысленных и бесчувственных изделий, непонятно для кого и с какой целью изготовленных. Во всяком случае, ни авторы, ни их профессора явно никаких душевных переживаний

по их поводу не испытывали. Учили хорошо. Об уважении к руководящей идеологии и речи не было. К художественным принципам – хоть каким-то – тоже. Преобладала атмосфера глумливой иронии. Институт выпускал профессиональных циников. Потенциально, все студенты Академии Художеств, кроме самых простодушных и доверчивых, были концептуалистами. Многие ими и стали. Думаю, что именно наше студенческое поколение и несколько последующих (не только ленинградцы, конечно), с полностью оборванными культурными корнями, без всяких устоев, художественных и общественных, извращенным представлением об истории профессии и острой тягой к социальному статусу образовало среду, из которой вышла элита постсоветского искусства. Они ее создали, а вовсе не несколько благородных шестидесятников, осенивших движение своими именами и еще помнивших живого Кончаловского. Разрыв времен можно датировать довольно точно – середина семидесятых. Тогда уходили последние профессора, учившиеся в десятые-двадцатые годы, захватившие и переварившие несколько культурных эпох. На смену пришли их ученики – студенты сороковых-пятидесятых, гомогенное советское поколение. Их ученики пошли в концептуалисты.

Для того, чтобы устоять тогда в застойном мире высококачественного, но потустороннего искусства приходилось вырабатывать собственные критерии оценок. Например: смотришь на картину и прикидываешь, а стал бы автор делать это в одиночку, без надежды выставиться и что-то за то получить? Определяешь таким образом степень необязательности занятия для автора. Другой критерий – наблюдаешь душевные телодвижения автора (любая картина только из них и состоит) и думаешь: себя он выражает или подыгрывает кому-то, действительно именно так думает, видит и ощущает или прикидывается? Тест на честность. И последний вопрос, до которого редко дело доходило, имеющий смысл только после ответа на оба первых – есть ли там что-то за душой, или выражать особенно нечего.

Обязательность, честность и способности – критерии любого искусства. Первые два определяют настоящесть. Последний – качество.

Кстати, о Дали. Он, я думаю, развлекался бы тем же самым и на необитаемом острове.

Представить себе Кабакова, развешивающего мусор на веревочках для собственного удовольствия, никак не могу.

КОНЦЕПЦ

Фрагмент

Я уже утверждал по различным поводам (а чего я не утверждал по различным поводам), что непереносимое документирование отдельных компонентов мышления – проклятие для людей творческой работы. На определенной ступени выяснилось, что художники-концептуалисты развивали сходные формы менталитета. Они отошли от материального объекта и продвинулись на два-три шага к более духовным – и, возможно, к более энергичным – возбудителям документации нереализуемых стремлений, и таким путем приблизились к традиционной литературе значительно далее красной черты, оттого что освобождение из плена-форм бросило их в западню формулирования.

Я высказываю это утверждение, будучи не более и не менее чем предприятием, производящим формулировочные западни.

Данный литературный текст – один из видов этой продукции.

Документирование уклонения от документации все еще остается документированием, – и если судить по уровню формулирования большинства мастеров-концептуалистов – оно покамест ближе к ручной выделке форм, чем к электронной документации.

Концепц декларативно отказывается от какого-либо документирования, а потому в данной текстовой-работе отсутствует какое-бы-то-ни-было документирующее действие.

Это – антидокументарий (недокументарий), сопровождаемый правилами пользования, лишенными всякой апологетики; в возможных пределах, в них, видимо, меньше апологетики, чем в любом разъяснительном этикетеже к продаваемым лекарствам.

По существу, данная текстовка – применяя грубое сравнение – свод пояснений к несуществующему снадобью, квиток с указаниями, приложенный к пустой бутылке.

Единственный путь, чтобы вырваться из медвежьих объятий языка фигуративности, это – массирование его изнутри, по возможности круговыми движениями, в направлении кровеносных сосудов и центральной нервной системы.

Процесс высвобождения из оков языка фигуративности покамест еще особый вид садоводства. Трудно обуздать ползучее растение без того, чтобы на него взобралась иная поросль. Но трудное не комментируется как невозможное.

Перевод Савелия Гринберга

Злата Зарецкая

В ПОИСКАХ ВОЗДУХА ИСКУССТВА

Существует ли хамсин на сцене? Можно ли вообразить отсутствие „ветерка“ в театре? При полном обмундировании живописными декорациями, умной музыкой, продуманной игрой, взвешенной, расчетливой режиссурой? Может ли при всех замечательных компонентах спектакль не состояться? И наоборот – при внешнем провале, бедности антуража и захлебывающейся несдержанности постановки – вдруг прорваться освежающим водопадом чистого смысла, обновляющим дыхание?! И где же наконец гармония, праздник искусства, когда можно забыть о себе и раствориться в том свете, который доступен лишь избранным, искренним служителям муз?

Панорама спектаклей последнего сезона 1997/98 гг. оставляет впечатление блистательного коктейля, в котором трудно отделить подлинно свободное творчество от дешевой актуальности во имя кассы или юбилея. И дело не в эскападах группы „Бат-Шева“, и не в войне культур – речь идет действительно об отделении на сцене „кодеш ми холь“ – святого от ежедневного, бесценного от продажного, злободневного и прекрасного от „желтой“ театральной журналистики.

Гениальным провалом оказались „Дон Жуан“ Ж.Б. Мольера и „Три сестры“ А. Чехова в моем любимом „Гешере“. Обе постановки решены в лучших традициях богатого „придворного“ театра, напоминающего парады и балы приближенных к царственной особе, щедро раздающей дары после пира. Вариация на тему знаменитой чеховской пьесы в ивритской упаковке прозвучала непривычно безнадежно, беспросветно, как гимн кладбищу, настальгия по

умершему и несбывшемуся. Авторская реплика о „смерти отца“ была развернута режиссером как визуальный ключ к постановке – от введенной картины прямых похорон в прологе – до трех сестер, вписанных в надгробия своего дома молодости и мечты в конце. На сцене было казалось все, что нужно для успеха: мастера перевоплощения – „русское“ ядро труппы („Ольга“ – Н. Войтулевич-Манор, „Маша“ – Е. Додина, „Андрей“ – И. Демидов, „Ферапонт“ – В. Портнов, „Чебутыкин“ – Б. Аханов), органично сочетавшееся с израильскими талантами („Ирина“ – Э. Бен-Цур, „Тузенбах“ – Н. Авикнин); светомузыкальная живопись А. Недзвецкого. А. Лисянского: от лилово лунных тоскливых интонаций смерти до ослепительно снежной радостной мелодии начала, уничтожаемого серой прозой; метаморфозы декорации, преображавшейся от черных памятников к живому белому дому и снова к перемешанным обломкам иллюзий. Но почему же при столь логичном решении на сцене нечем было дышать и эстетичность зрелища перекрывала каналы чувств? Почему надрыв был столь профессионален, страсти просчитаны, а драма – демонстративна? Почему внешняя красота перевешивала содержание? Где мера правды и лжи? И перед кем мы держим ответ? Как три часа превратились при броской роскоши во взаимное выматывание нервов? Почему публика (на 90% истеблишмент) была довольна (!) и в сопровождении двухметровых красавиц с приклеенными улыбками от „Филипп Морисс“ (фирма-спонсор) спешила к шведскому столу при свечах, при которых актеры были совершенно отделены от зрителей? Почему трагедия оказалась не целью, не духовным потрясением, не просветляющим дыханием, но лишь поводом для приятной светской беседы? Во имя чего и ради чего был спектакль и состоялся ли он вообще? Ведь гуманизм А. Чехова давно стал интернациональным, и его ивритское воплощение не удивительно. Но в гешеровской постановке „Трех сестер“ главное авторское достояние – Человек, который все же „велик своими намерениями!“ превратился лишь в блистательную театральную саморекламу, а весь спектакль в итоге – в изысканный светский раут, где „трагедия русских“ была подана в качестве экзотичного десерта. Мучительно потом болело сердце – среди любимых лиц ему не хватало воздуха.

Гешеровский „Дон Жуан“ по Ж.Б. Мольеру стал для меня сле-

дующим шагом на пути отрицания театра. На вершине европейской славы и признания в Эрецэ это был пик использования текста для самодовлеющей презентации собственных возможностей! Построенный на израильских выпускниках, вообще не апеллировавших к авторской глубине (исключая „Сганареля“ – А. Сендеровича!), он превратился в забавное масочно-марионеточное зрелище, где могучая роскошь постановки (Е. Арье-А. Лисянски-А. Недзвецки), возведенная в филармонический концертный принцип, затушевывала цель до конца. Мольеровский спор о человеке как светоносной душе, преображающей несовершенное тело, или механизированном звере, огрубляющем самые прекрасные черты, прозвучал как одинокий крик в пустыне в пользу несчастного Сганареля благодаря самосжигающей, истинно „гешеровской“ актерской страсти Александра Сендеровича, не щадившего себя в самых тяжелых сценических положениях. Если бы не его сильная искренняя игра, прорывавшаяся сквозь общую равнодушную заданность, спектакль бы вообще не прозвучал. Впрочем его голос тонул в холодном эгоцентричном хоре новых сценических красавцев!

Не спасла меня от удушья и новая группа молодых талантов театра „Габима“, агрессивно праздновавшая в большом зале Ровинной „народное представление“ Я. Шабтая по Н. Макиавелли – „Мандрагола“, Режиссер И. Ронен, подобно Е. Арье, желая вывести на арену будущих гениев, отказался от макивеллизма, политической остроты первоисточника, превратив авторскую сатиру на официальное лицемерие в легкий фольклорный развлекательный юмор с сексуальной клубничкой. По шуму, крику, суете, барабанному бою (якобы знакам импровизационной свободы!) зрелище вполне напоминало театр улиц ежегодного Аккского фестиваля с тем только отличием, что публика Тель-Авивской „Габимы“ абсолютно в нем не участвовала, остраненно наблюдая за играми молодежи. Впрочем демократизм и доброжелательность артистов, агрессивно вступающих в индивидуальный диалог со зрителями, не могли не растопить холод зала, хоть частично освежая его традиционную остраненную атмосферу. Однако подлинный прорыв в большое искусство тут не состоялся: слишком мизерным оказался замысел – декоративный эксперимент в духе "Comedia del-Arte". Визуальная самодостаточность (сценограф – М. Бен-Кнаан), отдельные таланты (Р. Смир – „Лукреция“, Ш. Деше –

„Вдова“, Й. Эйни – „Слуга) не смогли спасти спектакль, звучавший, при всем стремлении к ансамблю, как разнородная а-капелла индивидуалистов по поводу выеденного яйца. (Эта же группа молодежи поставила „Гражданскую войну“ по Й. Бен-Матитьяху в интерпретации И. Ронена.)

Большие надежды в юбилейном для Габимы 1997 г. (80-летие со дня основания!) многие возлагали на профессиональное ядро труппы, известное мощью таланта, опыта и скрытой исторической информации. Спектакль „Рассказы о Габиме“, написанный Д. Парнес и поставленный Р. Ниньо, должен был бы повествовать юному поколению о национальной гордости и славе, о боли и крови, из которой рождался новый идеал культуры, потрясший мир.

И что же я увидела? Несвязное разноликое интимное действо, сыгранные „мемуары“ актеров – личные воспоминания о забытых постановках, где каждый „отсек“ представлял себя целым кораблем, который давно и безнадежно затонул. Подобно „Титанику“ от него осталась одна лишь легенда. И лишь тому, кто может восстановить подлинную жизнь на плывущем где-то в вечности гиганте, дано приблизиться к истине о солнце еврейской сцены. Таковы были отрывки: Д. Бертоновой, станцевавшей нищую из „Ха-Дибук“, Т. Кналис-Ольер, тактично перевоплотившейся в Х. Ровину, Ш. Финкеля, вспомнившего своего знаменитого „Шейлока“, Л. Кениг, сверкнувшей „Мамашей Кураж“.

Но в целом показанное пахло мертвечиной. Может это и был замысел, как принято у сабров, терпящих историю лишь в той степени, насколько она позволяет самопрезентацию ныне живых. Балаганная группа в масках „Мандраголы“ была здесь закономерна, что еще более усиливало ощущение безвкусного постановочного компота.

„Новым“ режиссером Габимы в юбилейном году стал Овед Котляр – вернувшийся к творчеству после более чем 20-летнего руководства Хайфским Драматическим театром. Будучи сам по себе легендой израильской сцены, он привнес в центральный тель-авивской театр атмосферу ажиотажа, тем более что именно ему поручили создание в Иерусалиме театрализованного зрелища, посвященного международной презентации Израиля. Его „Анна Вайс“ по М. Колану, ожидалась как откровение. Но столь мощного разочарования я не испытывала уже давно.

Сеанс психоанализа о возможных сексуальных домогательствах родителя к своему чаду был сыгран почти концертно. Особенно отличился А. Пелег-„Отец“. Жаль было жара души, растраченного напрасно. На пустой, не обжитой сцене с тремя ящиками бумажной грязи, в которой роется героиня в поисках знаков своей потерянной памяти, прямо в лоб – абсолютно бездоказательно художественно! – нам предлагали якобы актуальную тему о насилии в семье. Но то, что потрясает в газете или в прямом репортаже на телевидении, не работало в буквальном перенесении на сцену, ибо сцена всегда требует образного домысливания! Острый политический памфлет, которым прославился в начатом им театре „Неве-Цедек“ (1981-88 гг.) О. Котлер, выглядел в его новой габимовской вариации претенциозной беззубой журналистикой, несовместимой с искусством. Кстати, аналогичным выстрелом впустую прозвучал и исторический розыгрыш Э. Зива, посвященный непроверенным слухам – раздутым мифам об израильских героях, эффектно встречающихся на каком-то кладбище в его авторской постановке „О жизни и смерти“.

После испытанного тогда приступа удушья я боялась приближаться к „Габиме“, однако жаль было, что билеты пропадают зря. Преодолевая себя, во исполнение профессионального долга я просмотрела два спектакля и... наконец-то была вознаграждена! „Мастер класс“ и „Соня Мушкат“ вновь примирили меня с национальным театром. Оба спектакля отличались скромным точным решением и эстетической силой!

„Мастер класс“ – создание международного созвездия. Теренс Макинли – президент американской ассоциации драматургов, неоднократно увенчанный премиями („Любовь! Мужество! Милосердие!“, „Лиссабон Травиаты“, „В отблесках луны“...) в 1996 г. был отмечен как драматург года именно за вышеназванную пьесу. Джонатан Папи – специалист по мюзиклам и операм, известный всему миру. Знаменитая „Эвита“ с Мадонной в главной роли – его детище. Израиль был тоже на уровне. Прекрасный иврит как образец новоеврейской музыки слова был представлен переводчицей Ривкой Мешулах. „Одела“ сцену, заполнив ее контрастными цветами, костюмами и убивающими неповал красно-бархатными зеркальными декорациями Мики Бен-Кнаан. „Говорящую подсвет-

ку“ словно мелодию вел Натан Панторин – свидетель славы Габимы с 1948 г.

Однако все было бы напрасно, если бы надо всем не царила Гила Альмагор – „Мария Калас“. Ради нескольких мгновений высокого искусства, давших возможность глубочайшего чистейшего дыхания от ее – нет не „игры“ – сжигающей все и всех жажды жизни на сцене, безапелляционно требовавшей аналогичной самоотдачи от каждого и отозвавшейся опрокинутой застывшей тишиной зала. Стоило мучиться и искать...

И божественный голос Калас как „исповедь отчаяния и счастья“ (Т. Макинли), перекрывая сомнения, повествовал нам о нас, возвращая волну ответа.

Мелкий сюжет о бунте оперной молодежи, требующей себе места под солнцем и уничтожившей в итоге идола своими оскорблениями, тем сильнее подчеркивал трагическую цену творчества как „чудотворства“, о котором тоскует вместе с нами педантичная невыносимо легендарная „Калас“-Альмагор.

„Соня Мушкат“ обладала совсем иным – еврейским магнетизмом, обаянием „Идишкайт“, любованием искренности „детей сердца“ и бесстрашием неожиданно жестокого самоосуждения. Первая пьеса С. Либрехт (после четырех сборников прозы и трех сценариев для телевидения, среди которых интересны „Гонимое имя“ и „Ассистент Б-га“) также как и предыдущие посвящена Катастрофе, но написана под углом зрения молодой сабры, преодолевающей боль универсальным психологическим размышлением.

До какой грани падения может дойти Человек прекрасный и благопристойный, и что есть истинное спасение? Это вопросы, которые Катастрофа только обнажила – истоки омертвения были заложены в миру! Парадоксальный текст актуален до крови.

Однако он бы не состоялся, если бы не талантливое постановочное содружество. Ицик Вайнгартен – режиссер вселенской еврейской совести (вспомним хотя бы его „Танец с отцом“ или „Мухамад-Мендель“) построил действие как тихое воспоминание о том, что всем известно – о попытке одной семьи убежать от смерти. То, что это богатые венгры молниеносно лишившиеся всего (известно, что Эйхману удалось меньше чем за два месяца (15/05-08/07 1944 г.) отправить через Будапешт в Аушвиц 445 000 лиц с желтыми

нашивками) тем сильнее подчеркивало мысль о крушении еще живого теплого мира, который целиком – еще в не снятых бальных бриллиантах идет ко дну.

Фрида Шохам – чуткий к подтексту сценограф превратила все пространство сцены в домашнее подzemелье, куда сами себя закупоривают еще не протрезвевшие от пира беглецы. Ключом к трагической поэзии действия она сделала мощные корни цветущего дерева, пробившие фундамент и повисшие справа над головами, словно огромная рука, жаждущая их схватить. Свет, едва проникающий сверху из „наземного“ окна, и пол цвета кровавой глины дополняли образ близости к Аду. Еще не смерть, но уже не жизнь – Чистилище.

Четверо темпераментных актеров Лея Кениг, Татьяна Каналис-Ольер, Алон Абутбуль и Эдва Адани расшевелили на сцене пламя нашей памяти. С израильской горячностью они оживили страсти последнего счета, на котором не лгут. Сюжет о двух богатых сестрах, загубивших преданную им служанку и вынужденных теперь унижаться перед новой служанкой – ее дочерью, был изначально взрывоопасен и создавал поле для импровизации.

Непреодолимая война амбиций – истинная реализация Ада, где смерть лишь следствие, а не причина, оказался до боли злободневен. Гармония нам только снится – вот главная тема этого красивого острого спектакля.

Мистерия-притча Х. Левина „Убийство“ в Камерном театре прозвучала пророческим призывом к милосердию. Нежелание смотреть то, что все и так известно без прессы – было у меня, как и у всех. Но постановка поразила углом зрения. И без того провокативный бунтарский текст поэта воспроизведен режиссером О. Ницаном (с присущей ему любовью к Шекспиру) с монументальной кровавой страстью в духе средневекового народного театра. Убийство „разворачивалось, как принято в фольклоре, – трижды по нарастающей: военное, будничное и беспричинное. Узнаваемые израильские черты – еврей-солдаты убивают араба хамасника, его обезумевший отец в упор расстреливает на пляже ни в чем неповинных жениха и невесту, наконец мерзкие грязные наркоманки, словно адские фурии, ради забавы забивают бедняка – лишь усиливают универсализм бесконечной ненависти, царство дьявола на земле.

Эпилог аллегоричен: на фоне освещенных солнцем юных

строителей слепые старые солдаты ищут Отца, чтобы объяснить!

Но черно в глазах, лишь постукивает посох... Может быть дети найдут и восстановится ими Его мир на земле?!

Спектакль „Убийство“ – гениальная реплика в незаконченном споре.

Театр „Хан“ предложил свою вариацию ответа. „Лудомирская дева“ – пьеса-„песня“ Й. Эвен-Шошан, посвященная легендарной святой из Польши (1892-1915 гг.), всколыхнувшей при жизни весь еврейский мир. „Тайну ее величия наше поколение осознать еще не может“, – из дневника современника. Историческая Хана-Рахель верила, что „освобождение придет только через действия во имя Б-га“. Женщина, отказавшаяся от семьи ради изучения Торы, она вызвала бурю восхищения и ненависти. Спектакль Офиры Кениг идет дальше. Разворачиваясь в каждом уголке старого „Хана“ (сценограф Ф. Клапхольц!) и освящая его в нашем сознании синтезом музыки, жеста, поэзии, традиционного костюма, он превращается из биографии святой в аллегория бунта за право духовного выбора, за честь и достоинство, за свободу истины – войну вечную.

На сцене поражала отнюдь не главная героиня – она была вторична, статуарна, психологически беспомощна, но те, кто ее окружают. Захватывающую реинкарнацию ее души мы ощущаем в актерском круге: энергия их талантов („Юродивая“-Ализа Розен, „Жених“-Игаль Саде, „Ученица“-Тамара Даян, „Агуна“-Катя Зимберис) не просто спасает действие, но выводит его на уровень культурного события юбилейного года, доказав еще раз реальность израильской театральной традиции. Кстати, попытка интеллигентной еврейской постановки была сделана и в спектакле „Дорогая Эстерлайн“ по Й. Агнону-Й. Бернфельд, и в „Антигоне“ Ж. Ануя – Г. Бессера, но это были только подступы к феномену иерусалимского „Хана“.

„Олимовский“ моноспектакль Григория Грумберга „Отпусти народ мой“ по книге Г. Габбе „Миссия“ неожиданно отразил волну духовного возрождения нации. На имея ничего: ни осветителя, ни звукорежиссера, ни декораций, ни грима – только безумную любовь к искусству, более чем 50-летний опыт и ощущение своей „миссии“, актер воочию создал ауру жизни того, кто, будучи евре-

ем, представлял по иронии судьбы на Эвианской конференции фашистскую Германию. Тогда, в 1938 г., он мучительно пытался предотвратить беду и не смог. Сцена смерти знаменитого врача и журналиста профессора Бенды, признанного даже нацистами, была сыграна „молодым“ 72-летним актером в черном с белым шарфом на шее с такой бескорыстной самоотдачей и чувством счастья, что казалось это он сам, наконец, навсегда свободен любить, а не ненавидеть. Этот спектакль – прорыв в будущее, в „полеты с ангелом“, в нем есть момент бессмертия.

За пределами путешествия по сценам еврейского государства в юбилейном сезоне осталось множество спектаклей: „Мед“ и „Гетто“ Й. Соболя, „Границы“ Шм. Леви, „Быть или не быть“ Р. Пинковича, мюзикл „Мелодия Алии“ Х. Хефера в Хайфском драматическом театре; „Шива“ Ш. Хаспари в Бейт-Лесин, „Адон Вольф“ И. Ронена в Камерном, „Овечка“ в кафе-театре Е. Фалевича, „Аба Шустер“ Башевиса-Зингера, В. Шпилберга в Новом национальном театре, „Мечты“ А. Фасбиндера-Н. Нитая в театре „Симта“. В каждом из них было что-то освежающее, обновляющее, продуцирующее культуру Израиля для будущего 21 века. Но об этом потом...

Нина Воронель

Ведьма и **П**арашютист

(роман)

Хотите ли вы опять, как в детстве, испытать захватывающее чувство вовлеченности в чужую жизнь? Израильский парашютист, роковая женщина, таинственный злодей, средневековый замок, европейская интеллектуальная элита... и убийство.

464 стр., цветная обложка.

„МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ“, Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440

Цена: 39 изр. шек.

(19 DM для Европы, \$15.5 для США, включая пересылку).

РОССИЯ И ОКРЕСТНОСТИ

Михаил Румер-Зараев

НОВЫЕ ИЛЛЮЗИИ И СТАРЫЕ НАДЕЖДЫ Из российского дневника

Когда оглядываешься на минувшие десять лет, то порой кажется, что они прожиты словно во сне, где ощущение счастья, возникающее при виде очередной химеры, сменяется глубоким унынием после ее исчезновения. А исчезает она при первом же прикосновении, рассыпаясь в пыль и прах, оставляя горечь утраченной иллюзии.

Вот шаг за шагом, год за годом, толчками открывается занавес политической сцены, где ты и зритель, и актер. То, что раньше было нельзя, теперь можно – писать, кричать, кувыркаться. И это сладостное „можно“ испытывают все, кто тебя окружает.

Ты впервые в жизни узнаешь чувство слияния с толпой, понимаешь, что тысячи людей думают, чувствуют так же как ты. Первое время ты даже немного стыдишься этого сознания. Ты привык жить на особицу, открывая немногочисленных „своих“ по реплике, улыбке, взгляду. Привык презирать толпу, бояться ее и быть в стороне – зрителем – холодным, рассудочным, ироничным. Теперь же ты с ней – с толпой, с массой. Ты с ней в Лужниках в 89-м, с ней перед танками в августе 91-го, ты с ней в марте 93-го на Васильевском спуске. Да и не толпа это для тебя. Толпа это те, кто по другую сторону баррикад, с красными флагами.

Но вот к концу 95-го все настоятельнее, все масштабнее становятся партийная грация Зюганова и стрекочущий, жлобский, бесовский говорок Жириновского.

Какое мучительное сжатие сердца, какое тошнотворное предчувствие очередного поворота истории заполняет сознание. Да-да,

конечно, по Марксу – один раз трагедия, другой – фарс. Но фарс после трагедии уже был, удручающий фарс, начавшийся в 85-м. Невозможно вынести это снова – голос Кобзона, распевającego „И Ленин такой молодой...“ и рядок членов политбюро на мавзолее. Не вы-не-су. Нехай оно летит все в тартарары. Вторую советскую жизнь тебе не жить.

Вспоминается, как летнее субботнее утро в семидесятые годы начиналось с яростного стука домино, врывающегося со двора в открытое окно. Выглядывая, видишь – грубо сколоченный стол в тени тополя, четверо мужиков в окружении болельщиков, ожидающих своей очереди навывлет. Вздвигаются здоровенные кулаки, азартно лупя костяшками в досчатую поверхность стола, к губастому мокрому рту подносится бутылка портвейна. Крик, мат, гогот. Эх, забава молодецкая! И так каждую субботу и воскресенье с утра до вечера пока не засветится телеэкран, не позовет домой другое всенародное игрище – футбол.

Ты сознаешь, что пока у них есть бутылка портвейна, говяжьи кости, из которых можно сварить борщ, телек и домино – ничего здесь не изменится.

Но ведь изменилось. Но только по прошествии лет понимаешь, что импульс был внешней. Из-за падения мировых цен на нефть стал скудеть поток нефтедолларов. Все труднее становилось содержать всю эту махину – ракеты, танки, производящие их заводы. Все сложнее сохранять имидж великой державы, которой до всего есть дело – от Анголы до Афганистана. Все меньше оставалось денег на портвейн и говяжьи кости.

И когда те, на мавзолее, рядом стоящие в нахлобученных, чтобы ветром не унесло, шляпах, не сумели свести концы с концами, тогда-то и началось. Аукнулось в городской пене – полулюмпенской, полуинтеллигентской – и пошло... Митинги, баррикады, живое кольцо, жаркие речи новых лидеров. Но в толще – цеховой, сельской, доминошной – ничего не менялось.

В аграрной газете, где отрубил в свое время полтора десятка лет и с удостоверением которой изъездил Россию, жаловались:

– Невозможно жить на такую зарплату.

– Ребятки, но вас же сто пятьдесят человек, и вы выходите через день, в неделю готовите двенадцать полос. Ни одна современная газета не может себе такого позволить. Сократите штат втрое и втрое поднимите себе зарплату.

– Кого же сокращать? Всё свои люди. Ты ж знаешь нашего главного, он человек гуманный.

Гуманные директора заводов по всей России содержали миллионы ненужных производству людей. Они слонялись по цехам, рубились в домино, кляли власть, ностальгировали по незабвенному прошлому и проталкивали сквозь прорезь урны бюллетени, где крестик стоял напротив зюгановцев или жириновцев.

И простирались над Россией эти два лика – один с ленинскими залысынами, рокочущим басом и волчьим взглядом, другой – сытый, нестерпимо наглый, всегда готовый по-волчьи огрызнуться, рассыпать бисер одесско-еврейской скороговорки.

Давая портрет дьявола в „Докторе Фаустусе“, Томас Манн подчеркивает его вульгарность во всем, даже в одежде: „Поверх триковой в поперечную полоску рубахи – клетчатая куртка со слишком короткими рукавами, из которых торчат толстопалые руки, отвратительные штаны в обтяжку и желтые стоптанные башмаки, уже не поддающиеся чистке. Голос и выговор – актерские“.

В манновском описании ада, приведенном в этом же романе, есть и такая деталь: „Кроме муки, обреченным проклятью уготованы еще насмешки и позор, что, стало быть, ад следует определять как необычайное соединение совершенно непереносимого, однако вечного страдания и срама“.

Страдание и срам. Драки в парламенте. Обещание дать каждой бабе по мужику, каждому мужику – по бутылку. Неужели Россия обречена не только на хаос, но и на срам жириновщины?

Так думалось декабрьской ночью 1995 года перед телевизионным экраном, который должен был принести результаты парламентских выборов.

Эти предвыборные ночи перед телевизором – одно из самых давящих российских воспоминаний. За окном – неразгоняемая светом редких фонарей тьма, пустые улицы и дворы, куда и выйти-то в позднюю пору страшно – так часты всякие криминальные инциденты. И голубым отблеском горят окна соседних домов, где тысячи твоих соотечественников бессонно сидят, впиваясь глазами в экран в ожидании – что-то будет с их страной?

А на экране ежечасные сводки избирательной комиссии, репортажи из штабов политических партий, представители истеблишмента рассуждают о прошлом и будущем страны.

Так было в декабре 95-го, когда Россия на утро увидела свой парламент заметно покрасневшим. Так было в июне 96-го после первого тура президентских выборов, когда два претендента словно два поезда понеслись навстречу друг другу лоб в лоб, в сшибке двух идеологий, двух частей расколотой страны.

Но не в одной же России происходят выборы? Всюду это нормальная демократическая процедура, естественный процесс передачи власти, которую рядовой человек вроде бы и не замечает, ибо жизнь идет своим чередом. Здесь же это некая пьеса в жанре апокалипсиса, затрагивающая все проявления народного бытия.

Бизнесмен откладывает заключение сделки – кто знает, сохранится ли частная собственность? Предприятие не хочет платить налоги – неизвестно, какая еще власть будет? Семья медлит с приобретением квартиры – не отменят ли приватизацию жилья? Рынки недвижимости, инвестиций, финансовый замерли словно в ожидании конца света. Миллионы человеческих судеб пресеклись, уперлись в эту дату. Колдуны, экстрасенсы, социологи, политические аналитики пророчествуют, прорицают, заглядывают в будущее.

На политической сцене – представление в самых разных жанрах – от детектива до оперетты. Один претендент на президентское кресло разыгрывает клоунаду, мечет словно бисер популистские обещания, другой – напялив красный пиджак, носит на руках собственную жену, третий – выступает с туманными утопическими концепциями.

Штабные команды двух главных претендентов ведут идеологическую дуэль. Одни используют память о трагическом прошлом страны, другие обвиняют конкурентов в сегодняшних бедах и тяготах народа.

Президент пробуждается от апатии и вдруг проявляет несвойственную его возрасту и состоянию здоровья активность – опускается в шахту и взлетает под облака, пляшет в толпе молодежи и обнимается со стариками, обещает, призывает, расстается с фаворитами, заключает союзы.

В последний момент тяжелой солдатской поступью выходит отставной генерал и словно рыцарь Ланцелот бросает вызов дракону коррупции, беря на себя ношу охраны национальной безопасности.

И вот все кончилось. Страна проснулась с президентом, полу-

чившим мандат на новый срок. Надо жить, обустроиваться, мостить дорогу в будущее.

В сентябре 98-го, когда страна в очередной раз провалилась в пропасть экономического хаоса, московский журнал „Власть“ задал своим читателям вопрос: „А когда нам было хорошо?“ Если вынести за скобки неизбежные в таких случаях ностальгические вздохи по советскому прошлому, то ответ наиболее серьезных деловых респондентов звучал, примерно, так: „Между 95-м и 97-м годом“.

Сначала я как-то поежился. Это стало быть в те времена, когда так мучительно переживалась судьба страны, когда предвыборная лихорадка то и дело грозила обрушить экономику и страх социального взрыва висел над всеми нами, в те самые годы нам было хорошо? А потом, подумав и кое-что сопоставив, согласился: во всяком случае тогда была развилка, некий шанс, которым можно было воспользоваться или упустить его.

Заглядываю в старые файлы, чтобы вспомнить, на что тогда надеялись, чего ждали в „зияющих высотах“ светлого будущего?

С чего начать, с какой точки отсчета? С января 92-го, когда Гайдар отпустил цены, ликвидировав денежный навес, грозивший обрушить экономику, но и тем самым „съев“ все, что у людей было на сберкнижках? С начала 93-го, когда Борис Федоров, тогдашний вице-премьер и министр финансов, остановил печатный станок и начал финансировать бюджет не за счет эмиссии денег, а с помощью государственных долговых обязательств.

Нет, начну, пожалуй, сразу с третьей и, в сущности, последней попытки. Предыдущие две провалились в хаосе общественной междуусобицы, лишавшей планы реформаторов всякой политической поддержки. Третья же, связанная с именем Анатолия Чубайса, началась зимой 95-го, когда после знаменитого „черного вторника“ с его резким скачком инфляции и курса доллара, падение уровня жизни оказалось самым глубоким с начала реформ. Тогда, как и сейчас, казалось, что выбраться из этого болота невозможно. План был разработан такой: прежде всего сделать то, что не удалось Федорову – полностью прекратить финансирование бюджета за счет эмиссии денег Центральным банком. Не разбавлять суп водой, что создает иллюзию сытости, не эмитировать

деньги, а брать в долг – покрывать дефицит бюджета за счет выпуска государственных ценных бумаг на внутреннем рынке и кредитов международных организаций. Прекратить пляску курса доллара, зафиксировать его, ввести в определенный валютный коридор, поддерживаемый с помощью Центрального банка, скупающего или продающего валюту, и вместе с тем сдерживающего рост денежной массы, что в свою очередь должно содействовать уменьшению инфляции. Своевременно принимать государственный бюджет, закладывая в него низкий, не превышающий двух процентов в месяц курс инфляции. И наконец еще один маневр: постепенно снижать доходность ценных бумаг, в том числе за счет привлечения на этот рынок иностранных инвесторов, вытеснять капитал из сферы рыночных спекуляций в производственные инвестиции.

Самое интересное, что эта схема стабилизации экономики осуществлялась. Не теми темпами, как хотелось, не полностью, но осуществлялась. Уровень инфляции, который в январе 95-го составлял 18 процентов весь год снижался и в начале 96-го дошел до трех процентов. Резервный фонд Центрального банка, позволявший ему удерживать курс доллара в рамках установленного коридора, составлял 13 миллиардов долларов. Международный валютный фонд, демонстрируя свое согласие с экономической политикой российского правительства, предоставлял многомиллиардные кредиты. Казалось, еще немножко, еще чуть-чуть и начнется рост производства, а там „эх, зеленая сама пойдет“.

Я тогда варился в котле околоправительственной журналистики и, Господи, как мы надеялись на этот пресловутый свет в конце тоннеля, как пытались его разглядеть, даже формулу такую тиражировали, выдвинутую тем же Чубайсом – „осторожный оптимизм“.

Конечно, каждый шаг его команде давался с великими муками, при страшном сопротивлении среды. Самым узким местом их программы была собираемость налогов. И Чубайс ко всем своим обязанностям первого вице-преьера по экономике взял на себя руководство оперативной комиссией по совершенствованию системы платежей и расчетов, превратив ее в инструмент пополнения доходов бюджета.

Эту комиссию не без иронии называли малым совнаркомом.

Собирались дважды в месяц по средам в Овальном зале Белого дома. (Смешение ассоциаций здесь причудливое. Малый совнарком – из советских двадцатых. Белый дом, как кличут резиденцию российского правительства на Краснопресненской набережной, – здесь Вашингтон, американская история аукается.)

Набивался обычно полный зал. Руководители экономических ведомств, главы областных администраций приезжали, всякий чиновный люд высшего ранга, журналисты в небольшом количестве.

Здесь-то Чубайс и демонстрировал свой знаменитый административный стиль. Жесткость без хамства. Ирония без панибратства. Точность, продиктованная умением схватить суть дела.

Откуда у него, вчерашнего доцента, питомца полуподпольных экономических семинаров начала 80-х, этот опыт? А откуда он у других завлабов и мэнэсов, вместе с ним пришедших во власть? Обкатка происходит быстро. Наворот решений, которые ежедневно надо принимать, дел и проблем, начавшихся от нуля, от истоков нового для страны экономического уклада, столь велик, что неспособные отсеиваются мгновенно. Впрочем, подчас и способные отсеиваются. Да и в Чубайсе при всей его жесткости и уверенности чувствовалось порой бессилие.

Вот он берется за алкогольный рынок. Цена проблемы – три процента валового внутреннего продукта или 50 триллионов тогдашних рублей, не попадающих в бюджет. Едва ли не сорок процентов оборота на этом рынке формируется за счет нелегальных источников и импорта, который происходит нередко на льготных условиях, без таможенных пошлин или по пониженным акцизным ставкам. Отменить льготы? А как отменишь, когда один из главных импортеров – национальный фонд спорта, возглавляемый фаворитом президента Ельцина, его теннисным тренером Шамилем Тарпищевым. Видите ли, продажа беспошлинной водки должна поддерживать престижные спортивные соревнования. Тем не менее Чубайс клянется отменить льготы, пусть спортивный фонд финансируется, как и положено, из госбюджета. „Или не будет льгот, или не будет меня“, – заявляет на заседании комиссии Чубайс. Но и он пока остается, и льготы пока не отменяют.

Или недоимщики – предприятия, которые не отдадут в бюджет положенной части доходов. Это самые богатые и известные компании – нефтяные концерны, железные дороги, автомобиль-

ные заводы. Они строят роскошные гостиницы для персонала, тратят миллионы долларов на зарубежные поездки руководителей, организуют дочерние фирмы, где укрывают прибыль. Прижать? Заставить платить? Объявлять банкротами? Но многие из руководителей этих предприятий знают дорогу не только в Белый дом, но и в Кремль, в резиденцию президента, финансируют избирательные компании. Здесь вступаешь на хрупкую корку клановых, политических и всяких других противостояний, где поскользнулся не один реформатор.

Поскользнулся на ней и Чубайс, будучи в конце 95-го принесен в жертву интересам президентской выборной компании, а на смену ему на этот ключевой для российской экономики пост пришел сначала „красный директор“ брежневского призыва, потом крупный банкир. Так что вернулся он на свою должность с тем, чтобы продолжать намеченную программу, только год спустя. И был тот год, в который уместились и президентские выборы, и последовавшая затем болезнь Ельцина, в лучшем случае топтанием на месте, если не отступлением...

И все же в сентябре 97-го зафиксировали начало роста. Очень осторожное, минимальное начало – три процента подъема промышленного производства по отношению к предыдущему месяцу. В октябре тенденция подтвердилась. Как будто бы. Думалось, уж не сказывается ли погрешность учета? Методики статистического ведомства несовершенны, многократно публично критиковались.

В ноябре один из самых агрессивных критиков правительства, опытный и авторитетный экономист, заявил о заметных признаках начала роста. Впервые за семь лет реформ валовый внутренний продукт не сократился по сравнению с предыдущим годом. По всем методикам зарегистрировали уменьшение безработицы. Небольшое – на полмиллиона человек – но все же уменьшение. Несколько выросли показатели уровня жизни – зарплата, объем розничной торговли, приобретения услуг.

Рядовой человек этого не ощущал. Тяготы, испытываемые населением были столь велики, что незначительное уменьшение ноши не давало ощущение облегчения. Более того, накопилась усталость от долговременного пути и от этого груз казался еще тяжелее.

Почему не пошло дальше, почему пресеклось столь трагическим образом? Теперь-то мне кажется, что и не могло пойти,

что главным было не то, что выходило в реформаторской программе, а то, что не получалось. Да, низкая инфляция, фиксированный курс доллара, валютные резервы, но налоги-то так и не поступали, их сборы в бюджет составляли лишь половину того, что планировалось. Затыкать эту перманентную гигантскую дыру и хоть что-то выплачивать учителям, врачам, пенсионерам можно было только за счет новых и новых государственных долгов, выпуска все новых серий государственных казначейских обязательств, назначая для привлечения кредиторов все более высокий процент. Доходность ГКО не падала, а наоборот росла. Маневр с вытеснением капитала из сферы спекуляций в производство не получался.

Отвечая на анкету журнала „Власть“, Евгений Ясин, теперь уже бывший министр экономики, этот наставник команды молодых реформаторов сказал так: „Если бы мы занялись сокращением расходов, выбиванием налогов, а не стали улекаться разными заимствованиями, сейчас было бы иначе. Заимствования были нужны, но не для покрытия текущих расходов, а на инвестиции. Иначе обратно мы этих денег не могли получить по определению“.

Ах, Евгений Яковлевич, Евгений Яковлевич! С вас ведь теперь спрос. „Стали увлекаться разными заимствованиями“. Какая красивая схема была. В конечном счете для вложений в промышленность занимаем деньги, в ее реструктуризацию, превращение в конкурентоспособное, ориентированное на спрос производство. За счет прибылей и налогов, получаемых от этого правильно работающего производства, и будут отдаваться долги государства.

Но ведь выстраивая эту схему, знали же вы, в какой стране живете! Знали, что в промышленность вкладывать деньги здесь, мягко говоря, затруднительно, что элементарные условия – правовые, экономические, политические – для вложения капиталов, то, что называется инвестиционным климатом, отсутствуют. Знали, что даже закон о разделе продукции, обеспечивающий иностранному инвестору гарантированную долю прибыли и открывающий дорогу десятку нефтяных проектов, общая цена которым сотни миллиардов долларов, какой год маринуется в парламенте, став игрушкой в руках противоборствующих политических сил.

Но и парламент не сам по себе. За ним – избиратель, для которого впустить западного инвестора значит продать родину, избиратель, постоянно испытывающий чувство национального унижения. Оно разлито в массовом сознании, словно запах горь-

кого миндаля, подпитываясь проигранными колониальными войнами, напоминанием о кредитных благодеяниях Запада, сознанием нищеты, своей неприкаянности в этом чужом мире и многими другими реалиями современного российского существования.

Вбитое десятилетиями советского империализма чувство державности, рухнувшей под обломками СССР, питает оппозиционное мышление, свойственное гораздо большим слоям населения, чем кажется на первый взгляд. И недаром каждый популистский политик обязательно разыгрывает державную карту. Именно она обеспечивает растущую популярность Лебедева и гаснущую – Жириновского. Именно ее всегда использовал в трудную минуту Ельцин.

Летом 98-го расклад получался такой. Правительству ежемесячно нужно отдавать в виде процентов по внутренним и внешним долгам 30-40 миллиардов рублей и примерно столько же необходимо на текущие нужды – на содержание армии, пенсии, зарплату бюджетникам и другие расходы государства. Итого, от 60 до 80 миллиардов. А налогов и таможенных поступлений собирается за месяц 22 миллиарда рублей. Это и была та финансовая пропасть, в которую с ужасом заглядывали лидеры страны.

Ощущение финансовой грозы томило страну всю весну и лето. Один из предупредительных раскатов грома раздался в мае, когда в разных концах света произошли три, казалось бы, несвязанных между собой события – падение президента Индонезии Сухарто, перекрытие шахтерами Кузбасса Транссибирской магистрали и вступление в силу закона об ограниченном владении иностранцами акцией энергетического холдинга „Единые энергетические системы“.

Рельсовая война доведенных до отчаяния шахтеров принесла огромные экономические потери и нанесла удар по международному рейтингу России. К середине мая, когда этот пожар удалось кое-как потушить, до Москвы дошел отзвук событий в Джакарте. Массовые беспорядки там привели к падению Сухарто и обвалу рупии. Инвесторам в развитых странах было рекомендовано выводить деньги с рискованных рынков. К ним теперь причислялся и российский.

В те же дни вводится закон об акциях энергетического холдинга. Здесь своя история. Ненавистный коммунистическому большинству парламента Чубайс возглавил правление этой гигантской кор-

порации после очередной отставки с вице-премьерского поста, благодаря голосам иностранных пайщиков. И тогда парламентарии вопреки президентскому вето принимают закон об ограничении владения иностранцами энергетических акций 25-ю процентами. В результате эти акции, составляющие львиную долю российского фондового рынка, мгновенно подешевели, потянув за собой стоимость и других ценных бумаг.

В этих трех событиях как в капле воды отразились слагаемые грядущего экономического краха – его социальная, международная, политическая составляющие.

В среду 13 мая министерство финансов не смогло разместить очередной выпуск государственных казначейских обязательств на девять миллиардов рублей. Никто не хотел давать в долг государству, никто не верил в его кредитоспособность. Между тем иностранные инвесторы по мере роста недоверия к России все быстрее сбрасывали на рынок национальные активы – акции, обязательства, рубли. Чтобы удержать курс рубля Центральный банк вынужден был продавать сотни миллионов долларов.

Такие атаки на рубль бывали и раньше. Но тогда все нити управления финансовыми рынками сходились в руках первого вице-преьера Чубайса, который прекрасно чувствовал ситуацию и мгновенно подключал свою команду, члены которой были расставлены на ключевых постах. Сейчас с приходом правительства Кириенко эти посты занимали еще малоопытные выдвиженцы из провинции, так остро не ощущавшие опасность.

В субботу они всем правительством решили отправиться в подмосковный пансионат на шашлык. Питомец комсомола Сергей Кириенко считал, что такая вылазка – шашлычок на природе – должна способствовать единению коллектива.

Однако за день перед тем из Японии вернулся Гайдар. Будучи всего на пять-шесть лет старше Кириенко, он за восемь последних лет выварился в таких экономических щелоках, что год можно считать за три. Молодым демократам, вошедшим в команду Кириенко, ему впору было быть наставником, дядькой, эдаким Савельичем, хотя Петрушей Гриневым Кириенко не назовешь.

Гайдар сразу оценил ситуацию и забил тревогу – страна на грани финансового краха.

И вот воскресным вечером 19 мая, когда добрым людям в пору отдыхать в преддверии рабочей недели, в ворота первой

проходной Белого дома со стороны Краснопресненской набережной въезжает бронированный „Мерседес“ и заруливает в спецгараж, откуда худощавый невысокий молодой человек поднимается на спецлифте на пятый этаж. Он минует пост охраны, стоящий у входа в премьерский блок, и входит в свой огромный, почти в сто квадратных метров, обшитый мореным дубом кабинет.

Громадные окна выходят на Москва-реку. Убранство кабинета составляет национальный флаг и герб, книжные шкафы с ровными рядами будто никогда не вынимаемых книг, два портрета президента: один – на стене, другой, подаренный самим Ельциным – на столе. Кресло за столом – огромное, темно-зеленой кожи – было в пору дородному Черномырдину, и кажется великоватым худенькому Кириенко.

Впрочем, это парадный кабинет. Есть еще малый – рабочий, где ведут доверительные разговоры, подписывают документы.

В тот же самый вечер в премьерские апартаменты вошли еще шесть человек. „Возмутитель спокойствия“ Гайдар, председатель Центробанка грузный, бородатый Сергей Дубинин вместе со своим замом Сергеем Алексашенко, министр финансов Михаил Задорнов, не так давно севший в кресло в доме на Ильинке под портретами своих знаменитых предшественников – от графа Витте до ленинского наркома Сокольников, Евгений Ясин, еще недавно писавший программу правительства Кириенко, и Сергей Васильев, заместитель руководителя аппарата правительства, один из главных идеологов чубайсовской команды.

В этой встрече интересны подробности, которые мы, к сожалению никогда не узнаем. Они ведь собрались отечество спасать. Что говорили, как говорили? Как Гайдар звонил Кириенко? Может так: „Вы что, ребята, в своем уме? Какой шашлык? Страна на грани финансового краха?“

Утром, в понедельник было опубликовано заявление кабинета с обещанием снизить объемы заимствований. Сколько их, этих обещаний было! Решили также срочно отправить Чубайса за помощью в международные финансовые организации. Опять же, в какой раз! Панику на рынке тем не менее остановить удалось. Вскоре из Белого дома последовала победная реляция: „Атака спекулянтов захлебнулась“. Но впереди было 17 августа.

В день, когда я пишу эти строки, на моем столе лежит один из

октябрьских номеров журнала „Шпигель“ с большой статьей, посвященной мировому экономическому кризису. По оценкам одних аналитиков он уже наступил. По мнению других пик – впереди. Тем не менее журнал публикует хронику событий. Дата, короткое, в две фразы, сообщение и картинка.

Начало, еще никому незаметное, с непредсказуемыми последствиями: 2 июля 97-го, тайландский банк в результате атак спекулянтов освободил свою национальную валюту – бат. Казалось бы, что особенного? Таиланд – периферия финансового мира. Упал бат – эка беда. Но 19 ноября в Южной Корее разваливается фондовый рынок, правительство просит об экстренной помощи Международный валютный фонд. 21 мая 98-го, Индонезия: падение курса рупии, массовые демонстрации с требованиями отставки президента Сухарто. 1 октября 98-го, Бразилия: страна увязла в рецессии, международные финансовые организации решили предоставить 30 миллиардов долларов для обеспечения платежеспособности государства. 8 октября, Китай: закрылся второй по величине в стране инвестиционный банк. И картинки, заставляющие вспомнить глобус Воланда: крохотный квадратик, который при ближайшем рассмотрении расширяется, становится рельефным, цветным, демонстрирующим сценку войны – бомба, взрыв, пожар, гибнущие люди. Здесь же – в квадратах журнальных иллюстраций – неистовство демонстрантов, искаженные гневом лица, вздетые вверх кулаки, сцена отречения Сухарто, бездомные люди, спящие на улице.

Россия поместилась между Индонезией и Бразилией. 17 августа: русский рубль девальвировался и упал за три недели на 67 процентов. Картинка: очередь у вывески „Обмен валюты“. И воспринимается это, если смотреть в масштабах глобуса, как всего лишь эпизод на фоне разворачивающегося мирового кризиса.

О мере воздействия мировой экономической ситуации – снижения цен на нефть, развала фондовых рынков и падения валюты в Азии – на российский крах идут споры. Правительственные аналитики склонны преувеличивать значение этого воздействия, оппозиционные – преуменьшать – мол, и так бы все рухнуло.

Но что же все-таки произошло в России 17 августа 1998 года? Да, был отменен верхний потолок валютного коридора, установленный к тому времени Центральным банком на уровне 7,15 рублей

за доллар. Произошла девальвация, то есть снижение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран. Внешняя причина этого действия очевидна: Центральный банк больше не мог тратить свои истощающиеся валютные резервы на поддержание курса рубля.

Девальвация как минимум наполовину сократила размеры государственного внутреннего долга, так как пенсии и зарплаты бюджетникам выплачивались после 17 августа без ее учета. Что касается внешнего долга, то было заявлено, что выполнение всех обязательств по нему откладываются на три месяца. В первом случае пострадало население, рублевые сбережения которого в очередной раз обесценились, а долларовые оказались замороженными в банках, прекративших платежи. Во втором – иностранный инвестор, который в очередной раз убедился в том, как опасно иметь дело с Россией. Последствия этого шага неисчислимы. Среди них – резкий рост цен, инфляции, безработицы, падение уровня жизни до черты начала 1995 года, наконец, смена правительства – приход к власти на смену молодому реформатору старого политика Брежневских и Горбачевских времен по прозвищу „Господин компромисс“.

Таким образом, произошло то, что должно было произойти! Финансовая пирамида долгов, воздвигавшаяся в последние годы рухнула, погребая под своими обломками банковскую систему, международный экономический авторитет страны, только формирующийся средний класс и многие другие реалии жизни современной России.

Теперь на смену традиционному российскому вопросу „Кто виноват?“ приходит не менее традиционный – „Что делать?“, а вернее „Что будет?“

Пророчества – дело опасное. Кассандре, судя по всему, было нелегко заниматься своим ремеслом, в конце концов ее прорицаниям перестали верить, отчего и погибла Троя. Правда, еще хуже приходится тем, кто берется не только предсказывать, но и лечить. Первый в Москве иностранный врач „лекарь Жидовин Леон из Венеции“ был казнен после смерти пациента – сына великого князя Ивана Третьего.

Слава Богу, лечить мне не пристало, пусть этим занимается Евгений Примаков, а что касается предсказаний, то в современной

журналистике имеется очень удобная форма рассмотрения возможных сценариев.

Если же говорить серьезно, то, конечно, ничего хорошего Россию не ждет. Выбор есть между „очень плохо“, „плохо“ и „плохо, но с некоторой надеждой на будущее“.

Группа проницательных аналитиков, объединившихся в Москве вокруг Института социологического анализа, так сформулировала итог одного из своих исследований настроений россиян: либо власти устроят нам пристойную жизнь при демократии западного типа, либо мы все вместе учиним националистическую диктатуру. Третьего не дано.

Истерические антисемитские выкрики генерала Макашова, распространение по России филиалов „Русского национального единства“ Баркашова, вооружение казачества, стремящегося охранять границу с Казахстаном, и многие другие симптомы распространения по стране почвеннического экстремизма укрепляют ожидание диктатуры. И все же этот сценарий, как мне кажется, пока мало вероятен. Время националистической пассионарности для России или прошло или еще не пришло. От деморализации и уныния, которыми охвачены массы до всплеска страстей, приводящих к появлению и поддержке нового фюрера, дистанция длинная. Третье, как мне думается, все-таки дано.

Второй сценарий можно назвать так: „Назад к СССР“. И он имеет некое првдоподобие, учитывая как состав примаковского правительства, в немалой мере вышедшего из недр плановой социалистической экономики, так и российско-белорусские политические игры. Симптомом такого возврата может быть бюджет на 1999 год (в тот момент, когда пишутся эти строки, он еще не выдвинут), составленный по принципу „всем сестрам по серьгам“ и дополненный всевозможными таможенными, налоговыми и другими льготами по типу тех, что имел пресловутый фонд спорта или, как его теперь называют фонд спирта. И тем не менее, я думаю, по-настоящему, назад пути нет. Не только потому, что дважды вступить в одну реку нельзя. Общество не зря прожило эти десять лет. В пережитых муках и страстях оно все-таки повзросло. И Примаков понимает это, распинаясь в верности идеалам рынка.

Третий сценарий наиболее вероятен. Разгрести обломки финан-

совой пирамиды, с грехом пополам восстановить банковскую систему, пережить зиму (в России зима всегда испытание), последствия денежной эмиссии и неизбежной инфляции и начинать восстанавливать жесткую финансовую политику.

Ее жесткость не только в стремлении собрать налоги. Некоторые экономисты полагают, что собираемые в доход государства 32 процента валового внутреннего продукта, это не так уж мало. Беда в другом: собирая 32 процента ВВП, государство пытается распределить 45 процентов валового внутреннего продукта в расходах. И недаром правительство Кириенко первым делом попыталось сократить расходную часть бюджета, чего ему парламент, конечно, не дал. А Примаков пока и не пробует. Замахнуться на главные расходные статьи – военно-промышленный, агро-промышленный комплексы – для него все равно что оттолкнуть поддерживающую его, выдвинувшую во власть руку.

Вот когда реальный смысл получают такие, казалось бы, отвлеченные слова, как „политическая воля“. Вот почему правительство пока маневрирует, идет по следам событий, даже и не выдвигая сколько-нибудь серьезной стратегической программы. Ему смерть как не хочется браться за реальное наведение порядка, проявлять эту самую волю. Это как в холодную воду входить: собратся и плыть, и еще неизвестно выплывешь ли? Но плыть придется. Назад пути нет. Рост инфляции и все сопутствующие ему последствия только усугубят стремление общества вернуться в „светлое прошлое“ – в условия низких темпов роста цен и относительной стабильности национальной валюты. И если нынешнее правительство не начнет идти по этому пути, стало быть начнет другое.

Осуществится ли этот прогноз? Не знаю. „Умом Россию не понять...“

Дмитрий Шляпентох

АМЕРИКАНСКИЙ СОВЕТОЛОГ МЕЖДУ МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНОЙ

Как и в 1917-1918 годах Россия стоит, и это становится очевидным все большему количеству людей, перед выбором между двумя возможностями. Первая предполагает авторитарное решение: кроваво-свирепая реакция на распад государства, предательство интересов страны ее элитой и самим народом. Вторая – распад России, возможно медленный и постепенный, возможно и кровавый, как показал опыт Чечни, на полуавтономные княжества. Россия в этом случае может превратиться в конгломерат практически независимых государств с очень слабым центром. Россия станет некоторым современным подобием Священной Римской империи. Этот вариант также не исключает захвата части России ее более сильными соседями. Китай является главным претендентом на значительную часть Российского Дальнего Востока. Этот все более очевидный выбор между плохим и худшим (авторитарно-кровавая диктатура или дезинтеграция) совершенно игнорировался американской советологией в дни крушения Советского режима в августе 1991. Анализ этого упорного игнорирования Западной советологией реально возможной трансформации России заслуживает особого внимания, ибо объясняет многое в американской культуре.

Недавно *New York Times* поместила огромную, на весь газетный разворот статью о грустной судьбе советологии и русистики, и в особенности советологов и русистов. Статья эта представляет собой мартиролог, повествующий об урезанных грантах, разогнанных славянских кафедрах и о полном равнодушии американцев к могучему, великому и недавно весьма популярному русскому

языку. Главная причина такой катастрофы, конечно, развал „империи зла“. Государства подобны мужчинам: когда они сильны, устрашающи и богаты, они кажутся привлекательными во всем: их история, язык, повадки – вызывают у публики интерес, страх и восхищение. Однако ежели удача их оставляет, они никому не нужны ни в каком качестве: у них отнимается не только настоящее и будущее, но даже и прошлое – оно тускнеет и блекнет: развал СССР сказался не только на специалистах по русскому настоящему, но и на историках и даже филологах. Развал СССР рассматривается автором статьи как главная, но не единственная причина катастрофического падения интереса к России. Советология притянула к себе далеко не самый смысленный американский люд: ведь никто не смог прогнозировать конец СССР. Но так ли уж виноваты советологи?

Для того чтобы разобраться нужно обратиться к другой гораздо более свежей проблеме: практически никто в 1991-1992 годах в Америке не прогнозировал сейчас уже очевидную трансформацию России во все более авторитарное, национально корпоративное государство. Или, что становится еще более очевидным, все большую и большую вероятность будущей дезинтеграции России на несколько семиавторитарных княжеств.

Дело очевидно в том, что такие предвиденья в 1991-1992 годах просто не дошли бы до основной массы читающих американцев. Никто, естественно, не бросил бы вас в каземат за открытое заявление, что демократия, возможно, не является столбовой дорогой человечества, что народ не всегда мудр, что националистические инстинкты не исчезнут вместе с памятником Дзержинскому, что только, наконец, сильная власть коммунистического центра обеспечивала единство не только Советского Союза, но и России.

Вы смогли бы свободно излагать свои взгляды, но ни одна крупная газета, уважаемый журнал или издательство вас бы не напечатали. Не были бы вы приглашены ни на радио, ни на телевидение. В лучшем случае вы напечатали бы ваш опус в каком-нибудь маргинальном издании, что-то вроде американского „сам-издата“, читаемого редактором и наборщиком. Отрицание вашей статьи было бы абсолютно тотальным, ибо в Америке вы не нашли бы подобия „красно-коричневой“ прессы, которая изначально была бы крайне скептически настроена к результатам реформ. И уж точно никто не выделил бы вам деньги на разработку этих идей.

Ответ о причинах ваших неудач как бы напрашивается сам собой. Не успела пыль от обломков „империи зла“ несколько рассеяться, как появилась масса людей (они не исчезли и по сей день), которые стали получать деньги под заявки типа: способность переходу от тоталитаризма к демократии, рынку и т.п. „Переходники“, философы „переходного периода“ естественно не желают упустить свой кусок пирога, а посему пресекают попытки тех, кто доказывает, что они попросту проматывают деньги доверчивых налогоплательщиков. Но дело не только в корыстных интересах „переходников“. Объяснять все корыстно-корпоративным интересом нельзя. Причина гораздо глубже, нынешний конфуз, который американская пресса продолжает не замечать, отнюдь не первый и, видимо, не последний в американских прогнозах вообще, и касательно России, в частности.

Сразу же после падения царского режима в феврале 1917 многим, особенно монархистам (тогдашним „красно-коричневым“), стало ясно, что освобождение масс к добру не приведет. К апрелю-маю опасность анархии и диктатуры в той или иной форме стала очевидной даже для тех, кто совсем еще недавно был в состоянии упоительной экзальтации, столь сходной с перестроечной порой. Вообще историкам было бы весьма поучительно сравнить публикации марта 1917 и 1989-1991 годов, им для этого вовсе не нужно пересекать океан.

Несмотря на очевидность фактов, американская пресса 1917 года, в частности например *New York Times*, практически ничего ни о дезертирстве, ни о преступности и крестьянской жакерии не сообщала. Все затиралось куда-то на задний план, а на переднем оказывалась какая-нибудь мадам Бочкарева со своим женским батальоном бесстрашных амазонок, готовых умереть за свободу. Керенский к концу лета 1917 дружно ненавидимый почти поголовно всеми – от левых до правых – был представлен глазам большинства американцев популярным героем, чем-то вроде русского Карно или „республиканизированного“ Наполеона, пользующегося почти единодушной поддержкой соотечественников. Здесь опять-таки было бы уместно сравнение с Горбачевым, дружно ненавидимым дома, но якобы пользовавшимся поголовной поддержкой населения в глазах большинства американцев в 1989-1991 годах.

И в 1917 широко публиковались многочисленные выступления „представителей русской демократии“, тогдаших Гайдаров и

Явлинских, утверждавших, что русская демократия прочна, страна готова вести войну до победного конца, а большевики – лишь кучка немецких агентов, прибывших в запломбированном вагоне. Последующее стремительное превращение народа амазонистых последователей мадам Бочкаревой (сама мадам Бочкарева спаслась и даже выпустила книжку по-английски) в кровавую орду и последовавший за этим Брестский мир никак не объяснялось.

В 1943 году Сталин из кровавого тирана, которым он представлялся американцам в 1939 году, превратился в доброго „дядюшку Джо“ и стал даже человеком года для престижного *Times Magazine*. Мысль журналистов была очень проста: не только Джо вообще неплохой парень (а иначе как мы могли быть с ним союзниками?), но, что самое главное, он движется в демократическом направлении, так что демократическая Россия вскоре после войны почти гарантирована. Через три года тот же Джо опять превратился в тирана и опять без каких-либо объяснений этой странной эволюции. Публикации в той же *New York Times* о кровавых забавах Джо в 1943 году были бы так же немыслимы как и газетный разворот в 1946-1947 гг., где бы доказывалось, что не все в „железном занавесе“ есть следствие сталинской паранойи, а есть, быть может, в этом и какое-то рациональное зерно.

В чем суть этого непонимания истории, этих столь часто наивно-глупых публикаций? Действительно ли все дело в исключительной глупости людей, пишущих о России, или каком-то тотальном безумии в национальном масштабе? Это страшное „оглупление“ при подходе к России (и не только к ней) легко объясняется, если мы поймем один важный элемент американской ментальности, во всяком случае той ее стороны, которая являет себя на страницах журналов и газет.

Современный американец в чем-то по-прежнему живет в традициях XVIII века и свято верит в демократию как светлое будущее всего человечества. Он рассматривает все исторические процессы под этим углом. Отсюда и наивная вера в то, что „Джо“, особенно после общения с демократической Америкой, с неизбежностью выведет к демократии. Из этой же традиции вытекает и вера в доблесть, благородство и внутренний самоконтроль народа, освободившегося от тирании. Это объясняет упоение мадам Бочкаревой и речами „представителей русской демократии“, как и в прошлом, так и в настоящем. Эти постулаты в сознании американ-

цев являются религиозной верой, чем-то вроде коммунистической, христианской или федоровской, и ее не может поколебать никакой интеллектуальный импорт из Европы.

Идеологические иллюзии американского общества были бы не опасны, если бы можно было излагать и распространять также и противоположные точки зрения. Но дело в том, что это невозможно. Американская демократия во многом столь же нетерпима как и худшая деспотия. Широкая масса может не уступить по свирепости любому тирану.

Более ста лет назад Герцен, вторя Токвилю, отметил, что, если в России все контролируется „третьим отделением“, то в Америке функции „третьего отделения“ берет на себя само общество. Хотя Герцен не побывал в Америке, он был совершенно прав по существу.

Из вышеприведенного ясно почему корреспонденты в 1917 году должны были отсвечивать мадам Бочкареву и „представителей российской демократии“, в 1943 указывать на скорую демократическую эволюцию Джо, а в 1990-1991 провозглашать, что после недолгого „переходного“ периода Россия неминуемо вступит в лоно свободного рынка и демократии. Те, кто думал по-иному, могли изложить свои взгляды в лучшем случае в маргинальном американском „самиздате“. Проблема еще усугубляется тем, что российские-то граждане твердо знали, что пресса контролируется правительством, и лишь в самиздате автор свободен, а американцы, напротив, в большинстве уверены, что центральную прессу никто не контролирует, и она преподносит обывателю правду-матку, а маргинальные издания – лишь причуды декадентов.

Мне вспомнились недавние события на нашей кафедре. Мы искали специалиста по Китаю, но не нашли, ибо спрос на китаистов превышал предложение. Даже зарплата у начинающих синологов выше, чем у русистов, и, видимо, прямо увязывается с ростом количества китайских ракет и агрессивно имперскими, но необычайно чарующими американскую публику телодвижениями у Тайваня. Интерес к Китаю неизмеримо выше, чем к России, хотя в Китае все шло „не по правилам“, и представители „китайской демократии“ сидят не в Думе, а на нарах. И захотелось мне, чтобы „неправильная“ Россия тоже была как желтый дракон мощной и свирепо-имперской, чтобы реяли российские орлы от океана до океана, а я был бы на двадцать пять лет моложе, снова в бреж-

невской Москве и жить мне там „как газели на полях благовоний“ . Но тому не бывать: исторический поезд ушел.

Виноват ли я? Виновата ли советология? Думаю, что нет. Ведь каждый народ заслуживает той советологии, какая у него есть, если она у него вообще есть.

Рассматривая американскую прессу о России и слушая высказывания большинства американских специалистов в этой области, можно предположить, что Америка состоит из сплошных идиотов, правда, весьма благожелательных. Однако, анализируя действия американцев по отношению к России, можно легко убедиться, что это предположение никак не соответствует действительности. В своем отношении к России Америка прагматично-холодна и никаких особых глупостей не совершает.

Сопоставляя продукцию американской прессы с действиями американского политического эстеблишмента в целом, можно видеть, что то, что пресса сообщает читателю и то, что является руководящим принципом американской элиты, совсем не одно и то же. Этот постулат относится не только к элите, но и к американцам вообще.

Восточноевропеец или ближневосточный житель, попавший в Америку не в качестве туриста или временно приглашенного, а живущий там постоянно, особенно в американской глубинке, отметит одну специфическую черту американского характера. Это глубинное двуличие, врожденный, так сказать, византизм. Корни этого явления в американской культуре таятся в ее протестантском характере, с одной стороны, и в специфике ранней американской истории, с другой.

Протестантизм по своей природе глубоко антисоборен, индивидуалистичен, внутренняя индивидуально-личная связь с Богом глубоко интимна, человек здесь полностью закрыт от другого, он глубоко экзистенциально одинок. Все проблемы – будь то неизлечимая болезнь или безработица – решаются внутри души; о них не принято говорить, а уж тем более жаловаться. Посему, в независимости от реального положения вещей, американец на все вопросы о самочувствии ответит, что все у него в полном порядке, и на лице его будет блуждать довольная улыбка. С другой стороны американская социальность, которая есть диалектически-оборотная сторона американского индивидуализма, поражает воображение пришельца. Их сплоченный коллективизм является

порождением той же американской культуры. Протестантизм-капитализм отделил американцев друг от друга, очистил от криминально-социалистической задушевности феодализма, поставил лицом к лицу перед безжалостным рынком и безжалостным Богом – смертью. Человек на американском континенте одинок не только в экзистенциально житейском смысле, но и в социальном: он высадился на берег и стал устраиваться там без какого-либо государства. Вернее, государство-то было, но оно было совсем слабенькое, символическое. Условия складывались так, что поселенец оказался, если воспользоваться нынешней терминологией, в ситуации чреватой „беспределом“. Этого, однако, не произошло в силу того, что протестантский буржуазный дух несет в себе не только индивидуализм, но и уважение к закону. Оставленные без давления и защиты государства, американцы привыкли решать свои проблемы сами и сообща; общество, социум в Америке во многом саморегулируем, роль полиции выполняет не полиция и государство, а само общество. Этот самоконтроль, привычка жить без опеки государства и есть то, что именуется гражданским обществом. В этом корень той черты американского национального характера, которая столь причудливо сочетается с американским индивидуализмом. Эта „социальность“ американского характера, наряду с протестантизмом, предполагает, что грубый аморализм, антиобщественное заявление не принимаются американским общественным сознанием. Моральная основа всякого действия для американца необходима. Личный интерес должен быть обязательно морализирован и не только для внешнего наблюдателя, но и для самого себя. Даже самому себе средний американец не может признаться в узко-корыстной, а тем более откровенно аморальной основе своих действий.

Эта внутренняя замкнутость, предполагающая, что твои внутренние чувства никому неизвестны, а также желание представить свои корыстные действия как глубоко моральные, общественно значимые, приводят к тому, что то, что американец говорит, и то, что он думает (а особенно то, что он делает) часто ничего общего друг с другом не имеют.

Эта двойственность известна всякому, кто, к примеру, когда-либо сталкивался с американским академическим миром. В своем большинстве американское академическое начальство, да и большинство ваших коллег будут с вами необычайно любезны. Коллеги

окажут вам массу мелких услуг, и вы сможете предположить, что у вас все в полном порядке, и все, кто вас окружают, от вас без ума. Но к концу годичного контракта или испытательного срока, после которого вы ожидали получить постоянный контракт (tenure), вы узнаете, что большинство улыбающихся и приветливых коллег, которых вы полагали своими друзьями, на самом деле с трудом вас переносят. Естественно, никакого контракта вы не получите. Вы также с удивлением можете обнаружить, что то, что провозглашалось как главный критерий, определяющий оценку вашей деятельности, ничего общего не имеет с реальными критериями. Если публично объявлено, что главными являются публикации, то на самом деле главным было преподавание. Если же провозглашалась необычайная важность преподавания, то будьте уверены, что главным окажутся публикации. Наконец, вы можете узнать, что на самом-то деле не важно ни то, ни другое. Публикации ваши, с которыми вас так сердечно поздравляли ваши коллеги, а начальство уверяло, что это именно то, что им нужно, на самом деле вызвали дружную ненависть всех и предопределили ваш бесславный конец. Вы можете узнать, что все ваши научные планы ничего не значат, если они не соответствуют идеологическому направлению, господствующему в вашей области. Левые, например, прочно доминируют в изучении России и бывшего СССР, а посему тема, связанная с жизнью рабочего класса, развитием классового самосознания якутов и проч. обеспечат вам успех, в то время как все другие темы окажутся не имеющими никакой ценности. Ну, а то, что вы не являетесь черным или женщиной, усугубляет вашу вину. Вы не относитесь к угнетенным меньшинствам, и посему на какую-либо помощь или сочувствие рассчитывать вам не приходится. Наконец, вам могут просто в частном порядке и „по-дружески“ разъяснить, что дело не в преподавании или научной работе, а в том, что вы „не вписались в коллектив“. При этом вовсе не нужно думать, что ваши коллеги полагают, что они прощаются с вами, поскольку вы мешаете им лично, ну например, тем, что публикуетесь слишком часто. Напротив, многие из них, даже наедине с собой не скажут всю правду: они будут говорить, что избавились от вас исключительно потому, что это был их прямой долг.

Словесно-внешний образ, объяснение тех или иных действий моральным императивом выполняет важнейшую функцию мо-

рального самоутверждения, веры в то, что, совершая то или иное действие, средний американец не просто действует в соответствии со своими лично-корыстными интересами, но и поддерживает глобально-космический моральный порядок и способствует его совершенствованию. Эта морализация, повторяю, однако, никакого отношения может не иметь к реальным действиям, подчиненным в конечном итоге своекорыстным интересам. Эти персональные характеристики американцев, это расхождение между рационально-эгоистической мотивацией и ее вербально-внешним проявлением объясняет нам во многом и поведение американской прессы, отношение ее к положению в России. С одной стороны, в их видении России, идущей по дороге демократии, увязывании демократии с процветанием и всеобщим счастьем, есть действительное отражение американской (и во многом западной) культуры, ее иллюзий и священных философско-исторических коров, которых она, как и всякая культура, не может затронуть. С другой стороны, однако, эта вера в демократию и ее священные принципы есть внешнее, наружное явление, сходное с доброжелательной улыбкой, не сходящей с лица американца, ничего общего не имеющей с его реальным отношением к тебе. Реальное отношение проверяется не словами и уверениями, а действиями, затрагивающими основу его бытия – карьеру, работу и деньги. Если мы применим подобный метод к анализу американской политики, то сможем убедиться, что, хотя пресса часто пишет наивно-либеральные глупости („приятная улыбка“), американская политика никакого отношения к этим либеральным глупостям не имеет; она весьма прагматична и часто разумна. Это различие между газетными и прочими восклицаниями и реальной политикой хорошо видно на примере отношения американской прессы и американского общества к России и Китаю. Китай занимает в американском сознании то место, которое лет пятнадцать тому назад занимал СССР. В газетах и ведущих журналах, а также по телевизору сообщается, что Китай при всех послаблениях остается деспотическим государством, политические заключенные по-прежнему томятся в лагерях, а с теми, кто преступил уголовное законодательство, поступают совсем не цивилизованным способом: выстраивают в ряд и стреляют в затылок. Все это происходит в присутствии массы народа. Сурово поступают китайцы и со своими национальными меньшинствами: тибетцами, уйгурами и прочими. Не все „правиль-

но“ и в китайской экономике, рынок не полностью торжествует и масса предприятий по-прежнему находится в руках государства; здесь эти экономические проявления социализма также прямо увязываются с китайским тоталитаризмом, проскальзывают и замечания, что успехи Китая в экономике весьма ограничены. В этом отношении замечания западной прессы полностью совпадают с теми, которые можно найти и в российских либеральных публикациях. В „Московских Новостях“, например, мне приходилось находить статьи с этой же идеей. Одна из статей, помнится, рисовала будущее Китая весьма мрачно. Отсутствие политической свободы прямо увязывалось с отсутствием настоящего рынка, технической отсталостью и по-прежнему весьма низким жизненным уровнем населения. Ничего хорошего не видел автор и в китайском будущем; раздираемый противоречиями Китай должен, по-видимому, не выходить из кризисов. С точки зрения большинства американских аналитиков и журналистов китайские политико-моральные проблемы должны отразиться на его экономическом росте. Это во всяком случае особенно подчеркивалось после событий 1989 года, когда сотни, если не тысячи студентов были убиты во время беспорядков. Указывалось также, что в любом случае американцы не должны иметь дело с тираническим правительством, особенно тем, которое еще и желает силой захватить Тайвань. В общем, строгая и моральная дама сообщает этому бандитствующему мужику, Китаю, что не то, что никаких отношений между ними быть не может, но и сидеть вместе за одним столом они не будут. Дамы, естественно, желают дружить с теми, кто следует по пути демократических реформ. Среди этих демократических, достойных стран была и Россия, во всяком случае в первые годы, следовавшие за падением коммунистического режима. Но как только дело коснулось инвестиций, никакой связи между этими заявлениями и реальными инвестициями в экономику Китая и России не оказалось. В страшный, диктаторский и аморальный Китай текут огромные инвестиции, а свободная Россия получает совершенно незначительные суммы. Полное несоответствие происходит и в вопросах внешней политики. В течение всего периода холодной войны Запад в целом, и Америка в частности, утверждали, что борются они вовсе не с Россией, а с „империей зла“, со страной, где всем заправляют люди со скверной кроваво-антидемократической идеологией, и как только вот эта идеология и режим

сойдут на нет, отношения с Россией изменятся самым коренным образом. После падения советского режима эта мысль продолжала подчеркиваться и была радостно подхвачена Козыревым. Однако, как и в вопросе об инвестициях, эти заявления к конкретным действиям не привели. Случилось все как раз наоборот: вскорости, еще при Козыреве, на Западе стали поговаривать, что нужно бы расширить НАТО еще дальше на восток (что и произошло в 1997 году). Российская правящая элита очень обиделась и стала упрекать Запад в лицемерии, дескать говорим одно, а делаем прямо противоположное. На самом деле здесь не было обмана. Все можно просто объяснить, если мы будем толковать поведение западной элиты в контексте вышеприведенной теории о „теоретическом“ и „практическом“ разуме.

„Теоретический“ – газетно-улыбчивый „разум“, религиозно-философские построения американской философии-религии, мироощущения, исходили из того, что „свобода“ это хорошо, а „деспотия“ это плохо. Теория эта также предполагает, что деспотизм плох для экономического развития, а при наличии свободы все сразу пойдет на поправку. Совершенно очевидно, с точки зрения опять-таки этого внешнего, газетного разума, что со свободными людьми и вести дела куда лучше, куда надежнее, чем с деспотом и его поданными. Это все утверждает внешний, газетно-официальный разум, но вот „практический“ разум подсказывает прямо противоположное. Практический разум прекрасно понимает, что с деспотическим правительством китайского образца гораздо спокойнее, чем с демократическим российской выпечки. Преимущества очевидны. Во-первых, с деспотическим правительством все неизмеримо стабильней. Если с деспотом-тираном договорился и внушил ему, что лучше соблюдать соглашения и правила, ибо в этом случае деспот получит еще, то деньги твои скорее всего будут целы. Если деспот мудр и начинает отождествлять свои интересы с интересами государства, то вложения, во всяком случае на время жизни деспота, могут делаться без особого риска. Другое дело нынешний постсоветский режим. Сам факт его зависимости от выборов является одним из главных его недостатков, поскольку приводит к нестабильности режима, причем нестабильности особой, в корне отличной от политической нестабильности латиноамериканских стран, например. Суть вопроса в том, что в латиноамериканских странах частная собственность

как институт в целом сложилась, она стала ну, если и не совсем „священной“, то устоявшейся. Перевороты или выборы президента в Латинской Америке собственности не затрагивают, они как бы скользят по поверхности общества. Экономические отношения сохраняют известную стабильность и посему иностранные компании могут без большого риска вкладывать в эти страны деньги, инвестируя их в долгосрочные проекты.

В постсоветской России ситуация иная. Власть здесь прямо увязана с собственностью. Причем эта связь образуется вовсе не так как в большинстве западных стран. Там человек сначала наживает богатство, а затем приходит в политику, но вовсе не для того, чтобы нажиться. В России идут во власть, чтобы в большинстве своем превратить власть в деньги. Эта прямая связь между властью и деньгами означает следующее: любые радикальные изменения в политической жизни, положении элит, автоматически приводит к изменениям в экономике. Собственность может просто перейти из рук в руки. Сходное можно найти только в Африке, может быть даже еще в большей степени, чем в России. Но с Африкой все же иметь дело проще, чем с Россией. Ежели какой-нибудь из африканских правителей попытается конфисковать собственность или даже увеличить налоги, взимаемые с иностранных компаний, то у его страны есть большой шанс познакомиться с американской морской пехотой. Подобного не может случиться с нынешней Россией, которая все же является ядерной державой. Все это прекрасно понимается западными бизнесменами, а посему не будут они вкладывать большие деньги в Россию, что бы при этом они ни говорили.

Подобное мышление, раздвоенность, может быть усмотрена и в отношении к России как к стране. На страницах газет сообщается, что Россия без коммунизма – это другая страна, что она друг Запада. Но это лишь улыбка, вежливая обходительность Запада. Реальная политическая мысль здесь весьма трезвая. Во-первых, Западу ясно, что играть по западным правилам Россия не будет. Не смогут, например, западные бизнесмены конкурировать в России на равных с российской бюрократией. С другой стороны, Россия, слишком велика и слишком много в ней осталось имперского гонора, чтобы „лечь“ под Запад, как это произошло с Восточной Европой. Россия может или быстро переродиться в экстремистскую авторитарно-националистическую диктатуру, или распа-

стяться на независимые княжества с ядерным оружием. Но все же главное не в этом: западные политики, во всяком случае те, что мыслили практично, сознавали, что борьба с СССР была вовсе не борьбой с „плохой“ идеологией и тоталитарным режимом, а с Россией, как с могущественным противником. Сейчас этот противник ослаблен как никогда в своей современной истории, отброшен к границам семнадцатого века, и нужно сделать так, чтобы он никогда не поднялся. Отсюда и экспансия НАТО на Восток.

Итак можно подвести итоги. Изучение западного отношения к России весьма противоречиво. С одной стороны, раздается немало заявлений представителей западной политической элиты, указывающих на необходимость дружбы с нынешней Россией. Лидеры эти заявляют, что несмотря на отдельные проблемы, Россия движется в правильном направлении. Россия превратилась в демократическую страну, во многом сходную с демократиями Запада. Экономические преобразования вскоре приведут к бурному росту. Многие из этих заявлений наивны, а иногда и просто глупы. Заявления эти однако никакого отношения к реальным действиям Запада, особенно Америки, не имеют. Они не привели к серьезным инвестициям в русскую экономику, а заверения о вере в русскую демократию не мешают Америке расширять НАТО на восток. Эти противоречия отражают специфику американского национального характера. Улыбчивость, приветливость американца, особенно представителя среднего класса, любовь к рассуждениям о высоких материях часто скрывает холодный практический расчет и достаточно верное понимание происходящего. Об американцах нужно судить по делам, а не по словам; если помнить об этой тривиальной истине, в отношении Америки к России многое станет ясным.

Наивным было бы также полагать, что то, что ясно автору этих строк, неясно российской политической элите. Продолжающаяся „любовь“ к Западу в целом и к Америке в частности вызвана не их наивностью, а прагматическими соображениями: без „любви и дружбы“ не будет „займов“ (которые, естественно, никто не собираются отдавать), криминальных миллиардов, отмываемых на Западе и многого другого. А посему „дружба и любовь“ будут проолжаться и никакие рассуждения здесь ничего не изменят. „Просветление“ произойдет лишь в случае радикальной смены режима, смены, которая потребует резать по живому и с хрустом костей. Произойдет ли это покажет время.

ИТОГИ ПЕРЕСТРОЙКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

Преобразование Центральной Европы после неожиданного крушения социально-политической системы советского типа явилось беспрецедентным опытом огромной глубины и масштаба, поставленным в естественных условиях. Эти слова могут показаться общим местом после того, как в течение восьми лет их повторяли на многих языках, но от этого не становится меньше сложность задач, стоявших и все еще стоящих перед странами, избавившимися от советского господства, тесного корсета однопартийной системы и командной экономики.

Анализ, предлагаемый в этой статье, представляет собой сочетание социологических, политологических и социально-психологических подходов. Он сосредоточен на проблеме взаимной обусловленности одновременного строительства демократической политической системы и рыночной (капиталистической) экономики, что не имеет прецедентов в истории, – в специфическом социальном и психологическом контексте, полученном в наследство от коммунистической системы.

Мой подход основан на двух методологических принципах, которые я использую при анализе преобразований в посткоммунистическом мире: „самоограниченное теоретизирование“ и „сознательный эклектизм“.

С одной стороны, социально-политические процессы такой глубины и размаха требуют теоретической разработки, чтобы облегчить ориентировку в быстро меняющейся социально-политической действительности. С другой стороны, теоретические категории при их приложении к явлениям, находящимся еще в процессе кристаллизации, легко могут привести к неверным обобще-

ниям. Под давлением непосредственных обстоятельств легко чрезмерно обобщить преходящие и недооценить более важные черты и механизмы. Сознательно самоограниченное теоретизирование, т.е. осторожная попытка применения теории, представляется лучшей стратегией, позволяющей избежать этой западни.

Сознательный эклектизм стал моим излюбленным подходом, так как он помогает избежать „порабощенности“ какой-либо жесткой парадигмой или специфическим дискурсом, что может в результате привести к отчуждению анализа от исследуемой действительности. *Сознательный эклектизм состоит в использовании тех парадигм или концептов, которые имеют наибольшую когнитивную ценность и объяснительную силу, модифицируя их (в случае необходимости) для соответствия анализируемой действительности.*

ЦЕЛИ И ТРУДНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

В посткоммунистическом преобразовании роль новой неопытной элиты, большинство членов которой являлись оппозиционными интеллектуалами, превратившимися вдруг в политических деятелей, была несравненно больше, чем роль элиты в стабильной демократии. Им пришлось создавать законодательные и институциональные рамки для демократического правления и парламентской партийной системы, демократического общества и рыночной экономики. Члены более широких кругов общества могли заполнить эти рамки, принять их, отвергнуть или преобразовать в практической деятельности, но лишь после того, как эти рамки созданы и получили широкое распространение. Введение новой законодательной и институциональной системы должно было совершаться демократическим путем, т.е. закон следовало изменять законными методами и открыто. Более того, новый строй должен был использовать как „строительные блоки“ то, что было унаследовано от прежнего режима, который потерпел крушение, оставив нетронутыми отдельные части, которые он связывал воедино. При этом новый строй должен был быть создан для народа и с помощью народа, большая часть которого родилась при коммунистической („настоящей социалистической“) системе и не имела опыта жизни ни при какой другой. Играл роль фактор „проб и ошибок“: новые

установления часто приходилось видоизменять применительно к обстоятельствам (*ad hoc*), когда практическое применение обнаруживало их недостатки.

Народное стремление заменить однопартийное правление демократическим явилось движущей силой ненасильственных революций в Центральной Европе. С самого начала имел место широкий консенсус относительно необходимости строить демократию. Приветствовались гражданские права и демократические свободы, предоставленные новым политическим строем. Проблема заключалась в том, как использует неопытный народ эти вновь приобретенные права и свободы. Ему только предстояло научиться компетентному, ответственному и умелому их использованию. Формирование демократических партий и правительственных систем стало в определенной мере внутренним делом возникающей новой элиты. Это однако не делало их задачу легкой. Им предстояло научиться демократическим правилам игры, которые вдруг вошли в силу и столкновение с которыми вызвало большой шок.

С другой стороны, экономические преобразования потребовали поэтапного достижения согласия и сотрудничества различных социальных групп в ситуации, когда по необходимости жизненно важные интересы многих групп оказались под угрозой.

От командной экономики была унаследована неэффективная инфраструктура со всеми ее плохо функционировавшими механизмами и рабочей силой, средства существования которой зависели от этой нежизнеспособной экономики. Таким образом, унаследованную структуру групповых интересов можно было охарактеризовать как анти-преобразовательскую. Социализм потерпел крушение именно там, где не существовало социальных групп, чьи интересы были бы связаны с систематическим преобразованием экономики. Напротив, непосредственный интерес почти всех социальных групп был связан с поддержкой статус кво, т.е. с сохранением имевшегося до того социально-экономического положения, как бы неудовлетворительно оно ни было. С помощью демократических мер, которые они получили в свое распоряжение, эти группы, составлявшие большинство, могли блокировать преобразования в экономической сфере и создавать угрозу для возникающей демократии.

Большую роль в преобразованиях играли специфические психо-

логические факторы как внутри элиты, так и в более широких кругах общества.

Тот факт, что изменение системы было столь резким, радикальным, всеохватывающим и неожиданным, явилось причиной глубокой и широко распространенной потери ориентации, которую я называю *неврозом переходного периода в масштабе всего общества*. Он коренится не только в реальных трудностях, но и в неожиданно возникшем чувстве экзистенциального беспокойства, которое размывает существующие системы ценностей, самоидентификацию и способы понимания мира, разрушает адаптивные механизмы, применявшиеся в течение десятилетий.

Ненасильственная революция не принесла революционного очищения. Каждый почувствовал себя несчастным и обманутым. Те, чьи надежды на лучший жребий связывались с радикальными переменами, имели основание считать, что „ничего не изменилось“. А тем, чьи интересы были связаны с сохранением существующего положения, разрушение того, что, казалось, хорошо функционирует (например, гигантских промышленных предприятий), представлялось бессмысленным и жестоким.

Таким образом, после короткого периода эйфории для одних и ужасов для других в преобразующихся странах начало преобладать пессимистическое настроение и в научном и в общественном мнении.

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ СЦЕНАРИИ

Преобладающее убеждение, что строительство демократии и рыночной экономики взаимно мешают друг другу, было сформулировано в стимулирующей мысль форме Офффе, который задал фундаментальный и, одновременно, парадоксальный вопрос: „Можно ли демократизировать саму демократию?“ (Офффе, 1991, стр. 871). Это означает, что „участникам игры должна быть предоставлена возможность принимать решения о правилах игры, в которой они участвуют, как и о сфере того, что является предметом игры“.

В статье „Капитализм под знаком демократии?“ Офффе приходит к пессимистическим заключениям. Он полагает, что народ, видя политическую и законодательную сцену глазами свободной прессы и имея в своем распоряжении демократические средства

блокировать реформы или препятствовать их проведению, просто не позволит новой элите реализовать капиталистическую экономику, которую он рассматривает (и это верно в краткосрочной перспективе) как противоречащую его жизненным интересам. Он будет бороться легальными, полулегальными и даже нелегальными средствами, чтобы сохранить свою материальную обеспеченность и социальное положение, которые „реальный социализм“ предоставлял массам на низком и все ухудшающемся, но все же гарантированном уровне. Тем самым они исказят не только экономическую реформу, но и нарождающуюся демократию.

С другой стороны, старо-новая элита воспользуется выгодами переходного периода, чтобы обогатиться за счет остального общества и таким образом исказить или полностью подорвать возможность построить жизнеспособные рыночную экономику и демократическую систему. Оффе указывает семь „возможных неприятных сюрпризов“: от блокирования или искажения демократической политикой пути к приватизации и маркетизации (развитию рыночных отношений) через приватизацию без маркетизации („от плана к клану“) к популистской президентской диктатуре, демократической лишь по названию.

Сценарий „американо-латинизации“ посткоммунистической Европы, весьма модный на ранних стадиях преобразования (1990-1993), основан на аналогии. „Проблемы, с которыми сталкивается Восточная Европа, являются типичными для экономики, политики и культуры бедного капитализма... Они стоят теперь перед Восточной Европой так же, как перед Африкой, Азией и Латинской Америкой: это один огромный Юг“ (Пжеворский, 1991, стр. 16-17).

Неявное (или же явное) предсказание, лежащее в основе „сценария американо-латинизации“, сводилось к предположению, что преобразование Восточной и Центральной Европы легко может закончиться капитализмом олигархического или мафиозного типа (выражение Оффе: „от плана к клану“), колоссальной коррупцией и невероятной бедностью слоев, находящихся внизу социальной лестницы. Эти предсказания были основаны на стереотипных представлениях о „восточноевропейской“ культуре как примитивной и авторитарной и/или советизированной, которые имеют некоторые исторические основания, но были чрезмерно обобщены.

Другой сценарий, который предсказывает (или, по крайней мере, предполагает) неудачу преобразования, основан на убеж-

дении в превосходстве авторитарных режимов над демократическими и в отношении проведения прорыночных реформ и обеспечения (по крайней мере, вначале) быстрого экономического роста. Эта теория основана на экономических успехах Китая и „азиатских тигров“ и на некоторой аналогии с исторической последовательностью возникновения рыночной экономики и развитой демократии в западном мире. Сторонники этой теории подчеркивают большую способность авторитарных режимов сосредотачиваться на долгосрочных целях и их гораздо более значительную сопротивляемость давлению групп интересантов, особенно профсоюзов.

Тем не менее, по мнению Бальцеровича, сторонники этого тезиса ошибочно обобщают специфические политические, социальные и культурные условия, существующие в некоторых странах с авторитарным режимом (напр., в Китае), распространяя их на все страны с таким режимом (Бальцерович, 1997, стр. 160).

Мрачные сценарии также имеют местные источники в преобразующихся странах. Отчасти они являются следствием неопытности и наивности некоторых членов новой элиты (особенно на ранних стадиях преобразования), которые с трудом воспринимают демократию с ее институциональной неопределенностью и постоянной конкуренцией, которые неожиданно вышли на политическую сцену и превратили многолетних друзей в соперников или противников. Некоторые из них были искренне убеждены, что открытие экономики для иностранных вложений приведет к продаже или передаче национального богатства иностранцам и что обогащение почти всегда основано на воровстве, обмане и коррупции. Многие боялись „капитализирования бывшей коммунистической номенклатуры“ и считали это (во многих случаях, вполне справедливо) просто разграблением общей собственности. Те, кто страдали „неврозом преобразования“ в острой форме, подозревали, что это результат заговора или же молчаливого соглашения между частью новой элиты и коммунистическим истеблишментом.

Большинство мрачных сценариев, созданных внутренней оппозицией, левой и правой, особенно обвинения в заговоре, были использованы в борьбе за власть, чтобы манипулировать дезориентированным населением и натравливать его против политических соперников.

Вопреки всем мрачным предсказаниям – внутренним и внеш-

ним, примитивным и манипулятивным или же сделанным с хорошими намерениями, а также научным – катастрофы, в 1992 и 1993 гг. появились некоторые признаки успеха политических и экономических преобразований в таких странах как Польша, Венгрия, бывшая Чехословакия, Словения и некоторых других. Законы были заменены в соответствии с определенными правилами, созданы основные демократические институты, политики подчинились демократическим правилам игры, падение в экономике было приостановлено, а в некоторых странах (в Польше в 1992) начался экономический рост. Цивилизованное, „бархатное“ разделение Чехословакии показало, что даже такое крупное событие может совершиться мирным путем и без существенного вреда для экономики „разошедшихся“ стран.

Остальную часть статьи я посвящу обсуждению механизмов, которые обеспечили успех после восьми лет бесспорных, хотя и не полностью завершенных и не свободных от недостатков преобразований в Польше, Венгрии и Чешской республике.

ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ

Я принимаю предположение, что в Польше и затем в других странах советского блока процесс преобразования системы начался в 1989 г. В большинстве стран этот процесс был запущен своего рода учредительными актами: приходом к власти правительства Мазовецкого в Польше, декларацией о создании Венгерской республики, избранием Вацлава Гавела президентом Чехословакии. Направление этих преобразований и их задачи были открыто декларированы в соответствии с волей подавляющего большинства народа, выраженной на выборах или в форме массовых демонстраций. Другой вопрос, была ли эта воля народа правильно понята новой элитой, да и самим народом. Тем не менее, последующие законодательные акты, проложившие путь к политическим, социальным и экономическим преобразованиям ставили перед собой цель построения демократии западного типа и рыночной экономики. (см. Френтцель-Загорска 1997).

Лешек Бальцеревич, архитектор польских экономических реформ („План Бальцеревича“), в своей книге „Социализм, капитализм, трансформация“ (1997) анализирует условия и факторы,

которые способны запустить изменение системы. Его анализ относится ко всем феноменам, составляющим содержание этого процесса.

Согласно Бальцеровичу, экономические и политические преобразования зависят от 1) начальных экономических условий, 2) внешних условий, 3) политики правительства. Начальные условия заданы историей, а внешние условия – внешними силами, и только политика правительства может быть сформирована новой элитой, хотя ее „способность направлять“ находится под сильным влиянием экономических и социально-политических факторов (там же, стр. 178).

Он различает три важных сферы экономической политики в процессе прорыночных преобразований:

1) макроэкономическая стабилизация, достигаемая средствами макроэкономической политики (большей частью, это антиинфляционные меры);

2) макроэкономическая либерализация, ставящая целью устранение различных ограничений со стороны государства, которые лимитируют экономическую деятельность;

3) существенные преобразования институтов, ставящие целью приватизацию государственных компаний, реформу налоговой системы или создание новых институтов, например, биржи (там же, стр. 179).

Он также указал три размерности экономической политики в ходе прорыночного преобразования: время, последовательность и скорость реализации конкретных мер (там же, стр. 182).

Два важнейших варианта экономической политики преобразования основаны на различном сочетании этих размерностей практической реализации.

Первый из этих вариантов представляет собой радикальную комплексную экономическую программу, при которой меры по стабилизации, либерализации и институциональной перестройке предпринимаются почти одновременно и осуществляются с максимально возможной скоростью. Такие программы могут быть запущены или почти сразу после политических перемен, или же после длительной отсрочки (в посткоммунистических странах встречаются примеры обеих стратегий). Второй вариант представлен не радикальной программой, при которой реализация мер по стабилизации и начало институциональной перестройки не совпадают

во времени, а их осуществление происходит медленнее, чем это возможно, или же идет с задержками (как в России в 1992 г.).

Как легко предсказать, Бальцерович – сторонник радикального варианта, который принято называть „шоковой терапией“* и который рассматривается другими или как панацея от всех бед посткоммунистической экономики или – что гораздо чаще – как проект „либерального дьявола“ и результат всемирного заговора всевозможных злых сил.

Его аргументация в пользу радикального плана звучит весьма разумно. Он подчеркивает важность начальных условий и необходимость приспособить к ним экономическую политику в отношении последовательности мер и скорости их осуществления. Унаследованная нестабильность (в основном гиперинфляция, как в Польше в 1989) требует радикальных и неотложных реформ. Он сравнивает гиперинфляцию с быстрым распространением огня, который неспособна остановить пожарная команда, прибывшая слишком поздно или действующая слишком медленно. При более стабильных начальных условиях (как в Венгрии и Чехословакии) нет необходимости в такой поспешности. Но радикальные реформы в любом случае необходимы для успеха преобразований. Нерадикальные или „градуалистские“ программы стабилизируют „скрытую безработицу“, тогда как радикальные приводят к явной безработице, что делает ее гораздо болезненнее для тех, кого она затронула. Это приводит к необходимости финансирования из государственного бюджета и, тем самым, к росту инфляции. Любая отсрочка мер по макроэкономической стабилизации, когда бы они ни были предприняты, ведет к превращению скрытой безработицы в явную.

Более того, градуалистские программы характеризуются меньшим и гораздо более медленным уменьшением государственного вмешательства. В период преобразования они, как и радикальные программы, ведут к экономическому неравенству, но в выигрыше оказываются группы давления, имеющие лучшие связи с государственным истеблишментом. На практике это очень часто приводит к капиталистическому преобразованию номенклатуры, положение которой дает ей возможность использовать прежние связи. Это

* В России принято приписывать эту идею Е. Гайдару.

также направляет энергию руководителей и предпринимателей в сторону подкупа, порождая „стратегию поиска связей“ за счет стратегии повышения эффективности (там же, стр. 180-185).

Согласно Бальцеровичу, за крупными политическими переменами в истории каждой нации следовал „чрезвычайный период“, который имел место во всех странах Центральной и Восточной Европы после падения коммунизма. В этой фазе политические партии еще не окончательно сформировались, тенденция политиков мыслить в понятиях общего блага сильнее, чем подходить с точки зрения частных партийных интересов, а поддержка нового правительства обществом в целом сильна. Таким образом, проведение программы важных реформ в этот период гораздо легче. Когда же возникает „нормальная политика“, с борьбой партий, давлением групп интересов и избирательной кампанией, продолжение реформ может быть заторможено.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛЬШЕ, ВЕНГРИИ И ЧЕХОСЛОВАКИИ

Начальные условия. В начале процесса преобразований условия в Польше, Венгрии и Чехословакии сильно различались.

Польская экономика страдала от острого макроэкономического неравновесия. Уровень инфляции граничил с гиперинфляцией, острая нехватка товаров была широко распространенным явлением и иностранный долг был огромным. Нарушения макроэкономического равновесия в Венгрии и Чехословакии были сравнительно невелики, хотя Венгрия, в отличие от Чехословакии, имела большой иностранный долг.

В Венгрии экономическая реформа, проведенная в 1968, была самой успешной в Советском блоке, и это помогло поддерживать венгерскую экономику на сравнительно хорошем уровне вплоть до начала преобразований. Польская экономическая реформа, проведенная Ярузельским в 1982, потерпела неудачу, хотя при ретроспективной оценке ей можно приписать психологическую заслугу создания прорыночных настроений.

В Чехословакии, хотя при коммунистическом режиме никакие экономические реформы не проводились, экономика была в достаточно хорошем состоянии, особенно в сравнении с другими

социалистическими странами. Однако существовала значительная разница в экономическом положении чешских земель и Словакии. Чешская промышленность была гораздо более развита и основывалась на традициях довоенного процветания и эффективности. Словакия не имела таких традиций, была менее индустриализована и – что особенно важно – здесь были расположены многие типично социалистические гигантские предприятия, производившие продукцию для Советского Союза и коммунистического блока. Эта высокая доля „чисто социалистического производства“, как это называет Бальцеревич, привела к тому, что после исчезновения советского рынка и роспуска Комекона Словакию поразила высокая безработица, тогда как Чешская республика избежала этого.

Альтернативная элита. Новая элита, роль которой в преобразовании общества, была решающей, также носила различный характер в трех указанных странах Центральной Европы.

В Польше организованная оппозиция, неофициальная, но не находящаяся в подполье (ее отчасти терпел коммунистический истеблишмент при Гереке), возникла уже в 1976 вместе с формированием КОР (Комитет защиты рабочих). Страна имела 15 месяцев свободы во время Солидарности в 1980-1981 гг., когда сформировалась объединенная элита рабочих и интеллектуалов с их лидерами и героями. Это движение было подавлено с введением чрезвычайного положения, но элита не была уничтожена и на деле не замолчала. Государственная монополия на информацию и в целом на „общественную сферу“, прорванная еще до регистрации Солидарности, никогда больше не восстановилась. В период между 1981 и 1989 гг. подпольные пресса и издания расцвели, как нигде и никогда до этого в истории. Альтернативная элита формировалась в Польше в течение 13 лет. Будучи полуподпольной, оппозиционность для сравнительно многих стала способом жизни и самореализации. Тем не менее эта элита не боролась за политическую власть в государстве и не готовилась к тому, чтобы управлять страной. Даже в 1989, когда Солидарность приняла участие в полусвободных выборах, она не имела намерения овладеть властью и сформировать правительство Солидарности. Ее главной целью было заложить основы для перехода к демократии посредством нарушения абсолютной монополии коммунистической партии, но не власть сама по себе.

В Чехословакии оппозиционные круги были очень узкими, они рекрутировались только из интеллектуальной среды и были изолированы от широких слоев общества. Их главная цель сводилась к моральному протесту или моральному выживанию (это и есть „антиполитическая политика“ Гавела). Роль, которую играла польская Солидарность, была за пределами их самых смелых мечтаний, и легкая победа в „бархатной революции“ пришла к ним как поразительная неожиданность.

В Венгрии оппозиция была связана с лагерем сторонников реформ в коммунистической партии. Можно сказать, что еще в конце 1980-х годов они рассматривали реформу общества как более радикальное продолжение реформ 1968 года, которые основывались на „великой коалиции“ членов партийной олигархии, государственной бюрократии, руководителей государственных предприятий и возникающего слоя предпринимателей. Сценарий великой коалиции представлял собой проект строительства нового класса собственников на основе прежнего, коммунистического правящего класса, который – как полагали оппозиционные интеллектуалы – никогда не откажется от власти, если им за это не заплатят. Можно сказать, что венгерская элита была больше заинтересована в подготовке к управлению страной, чем польская и чехословацкая, но задуманный ими проект не осуществился (Ханкис, 1989).

Эти характеристики элит соответствующих стран являются, конечно, упрощенными. Были расхождения во взглядах. В каждой стране были сторонники как экономического либерализма, так и „третьего пути“, предполагавшего комбинацию элементов капитализма и социализма в экономике и систему социального обеспечения. В каждой стране некоторые лица и группы работали над проектами экономических реформ и до 1989 года. В Польше было несколько групп – одну из них возглавлял Бальцеревич – в Чехословакии во главе одной из таких групп стоял Клаус, и было несколько групп в Венгрии. Тем не менее, распад коммунистической системы был неожиданным для оппозиционных элит во всех этих странах.

Стратегия преобразования. На стратегию преобразования в отдельных странах оказали влияние начальные экономические условия и преобладающие настроения в новой элите, пришедшей к власти в 1989-1990 годах.

В Польше шоковая терапия, получившая название Плана Бальцеровича, была осуществлена самим Бальцеровичем под покровительством правительства Мазовецкого в 1990 г., еще в „чрезвычайный период“. Были проведены меры по стабилизации денежной системы и существенной либерализации – сочетание, которое вызвало резкую критику со всех сторон, но оказалось успешным. Быстро развилась спонтанная „малая приватизация“. Приватизация государственных предприятий проходила не так быстро, как это планировалось, и „общая приватизация“ была отложена до настоящего времени. Радикальные меры были навязаны новому польскому правительству тяжелым состоянием экономики, но огромную роль сыграла также решимость главы правительства и министра финансов (Бальцеровича). „Чрезвычайный период“ в польской политике закончился очень быстро, и это привело к задержке приватизации и институциональных изменений.

Реприватизация вызвала много споров и проводилась медленно и непоследовательно. Главное препятствие для реприватизации коренилось в экономической структуре довоенной Польши и в структуре сельского хозяйства коммунистического периода. До 2-ой мировой войны уровень индустриализации был низким, а в сельском хозяйстве господствовали крупные землевладельцы, в большинстве своем дворяне, право собственности которых на землю восходило к феодальным временам. После земельной реформы 1945-го года возникли мелкие крестьянские хозяйства, и в течение всего коммунистического периода 70% пахотной земли находилось в частном владении мелких хозяев. Таким образом в Польше последовательная реприватизация лишила бы крестьян их собственности и вернула землю потомкам дворян-латифундистов, а это – по очевидным причинам – было невозможно.

В Венгрии избрали градуалистскую стратегию. Выбор был основан на (в общем верном) убеждении, распространенном среди новой элиты, что экономическое равновесие венгерской экономики удовлетворительно и что 21 год рыночных реформ (начиная с 1968 г.) внедрил столько черт рыночной экономики, особенно в сравнении с Польшей, что можно избежать радикальных мер. Новое правое правительство сосредоточилось на политических и идеологических проблемах, а также на связях с Западом, которые оно осуществляло очень умело, основываясь на положительном историческом образе Австро-Венгрии. В результате это привело к

большим иностранным вложениям, существенно превышавшим вложения в другие посткоммунистические страны.

Реприватизация в Венгрии создала гораздо меньше проблем, так как сельское хозяйство было коллективизировано. Тем не менее программа реприватизации оказалась малоуспешной и привела к подрыву производительности венгерского сельского хозяйства, которое при коммунистическом режиме процветало.

Распад Чехословакии отделил процветающие Чешские земли от менее богатой Словакии.

Стратегия, избранная в Чешской республике после раздела, трудно поддается определению. С одной стороны, словесные формулировки, использованные правительством Вацлава Клауса, были радикально либеральными, но анализ сложившегося положения показывает, что многие черты командной экономики все еще негласно сохраняются. Приватизация через посредство ваучеров была провозглашена во всех посткоммунистических странах как образец и использовалась в соседних странах как пример для подражания популистскими политиками, которые – как, например, польские лидеры, принадлежавшие ко второму поколению деятелей Солидарности – требовали „всеобщей приватизации“ как инструмента достижения социальной справедливости.

С течением времени, однако, стали возникать серьезные сомнения. Приватизация с помощью ваучеров казалась ловким политическим ходом, позволившим правительству Клауса заявить, что приватизация в Чешской республике завершена и опубликовать внушительные статистические данные о доле частной собственности в чешской экономике. Тем не менее, приватизация ваучерами не гарантирует, что в итоге этого процесса можно будет создать жизнеспособное предприятие, и даже в 1997 г. „никто не знает, сколько государственной собственности действительно приватизировано“. Большая доля приватизированных с помощью ваучеров предприятий в настоящее время является собственностью принадлежащих государству чешских банков.

Реприватизационная программа в Чешской республике была, однако, более последовательной, чем в других посткоммунистических странах. Относительно много собственников больших промышленных предприятий, которые процветали до войны (например, Батя), вернулись на родину и вступили во владение своими прежними предприятиями. Коллективное сельское хозяйство было

лишь частично реприватизировано, многие коллективные хозяйства превратились в настоящие кооперативы и были отданы в аренду или проданы коллективам их работников, что позволило им продолжить производство без значительных трудностей.

Политическая и социальная ситуация после 1989 также существенно изменилась. В Польше организованная оппозиция действовала в течение многих лет. Ее члены добились крупных успехов: они создали Солидарность в 1980-1981 гг., принудили коммунистический истеблишмент подписать „договор круглого стола“ в 1989, в том же году выиграла с колоссальным преимуществом полусвободные выборы и сумела сформировать первое в Советском блоке некоммунистическое правительство, что породило „эффект домино“, приведя к распаду советской коммунистической системы. Они также подвергались длительным тюремным заключениям и преследованиям и претерпели репрессии до и после введения „чрезвычайного положения“. У них было время и много причин для того, чтобы развить разные формы идеологии, разработать различные взгляды на будущее Польши, а также разные стратегии для реализации этих идей на практике.

Но эти внутренние расхождения были ограничены потребностью сохранения единства в конфронтации с могущественным противником. Как только вступили в силу демократические правила игры, все эти расхождения вышли наружу. В 1989 в Польше появилось много претендентов на политическую власть, которые имели серьезные основания считать, что они именно должны решать, как следует управлять страной, за которую они боролись и страдали.

Рабочие, которые ощутили свою силу в борьбе с коммунистическим истеблишментом, не только выдвинули своих лидеров и героев (Валенса, Буяк, Фрасынюк), но и добились формально гарантированного влияния на управление социалистическими предприятиями (что было им предоставлено реформой Ярузельского от 1982 года).

Сочетание этих факторов привело к скорой отмене „чрезвычайного положения“ в польской политике и явилось причиной значительной политической нестабильности.

В течение восьми лет в Польше сменилось восемь кабинетов. Ни одно правительство, ни один парламент (за исключением посткоммунистического, который действует в настоящее время) не

прослужили полный срок. Политические партии размножились, раскалываясь и меняя коалиции. Забастовки и протесты стали обычным явлением.

Международному общественному мнению Польша представлялась страной, проложившей дорогу демократии и рыночной экономике в Восточно-Центральной Европе и строящей то и другое в беспокойной манере, отмеченной традиционными тенденциями к анархии и политической нестабильности.

Парадоксальным образом, относительная политическая стабильность пришла вместе с возвращением к власти экс-коммунистов в результате выборов 1993.

Венгерская оппозиция, связанная до и после 1989 г. со сторонниками реформ в самой коммунистической партии, старалась избежать „польской модели“. Они надеялись спокойно провести Венгрию через период преобразований без помощи профсоюзов, подстрекавших массы к протестам. Они также (позже) хотели избежать „войны в верхах“ польского типа. Эти стремления привели к долгосрочной политической стабильности, которая рассматривалась как пример для подражания и которая привела к тому, что „чрезвычайный период“ в венгерской политической жизни продолжался относительно долго. Главные политические партии, софрмировавшиеся до первых свободных выборов, оставались стабильными. В течение раннего периода посткоммунистического преобразования Венгрия пользовалась репутацией самой „западной“ страны Центральной Европы.

В Чешской республике „период чрезвычайного положения“ был продлен и в какой-то мере „повторен“ после „бархатного разделения“. Чешское правительство, возглавляемое харизматическим премьер-министром Клаусом, оставалось стабильным в течение шести лет и правящая левоцентристская партия (ОДА) пользовалась надежным большинством в чешском парламенте. Чехия заслужила репутацию самой стабильной посткоммунистической демократии и „лучшего ученика“ в школе капитализма. Кризис возник в результате выборов 1996 г., когда партия Клауса потеряла свое большинство и начали проявляться негативные стороны приватизации ваучерами, а также коррупция и дезорганизация на рынке капиталов. Популярность партии ОДА и ее руководителей стала падать. Однако, уже осуществляются необходимые политические коррективы.

ПОЧЕМУ ДОСТИГНУТ УСПЕХ?

Восемь лет политического, социального и экономического развития показали, что преобразование общества, которое казалось почти невозможным, стало реальным фактом. Пессимистические сценарии не осуществились. Новая элита и народ сравнительно быстро научились новым правилам игры, ностальгия по „доброму старому социализму“, очень сильная в начальной фазе, уменьшилась, как и „невроз переходного периода“. Существует много кризисов и растущее число проблем, но они в конце концов решаются тем или иным путем, и общее направление преобразования сохраняется.

В июле Польша, Венгрия и Чешская республика, почти наверняка, получают приглашение вступить в НАТО. Перспективы их присоединения к Объединенной Европе к концу столетия также неплохи или, по крайней мере, лучше чем у других посткоммунистических стран.

Журнал „Экономист“ в номере 20 за 17-23 мая 1997 сообщил, что рост валового продукта равен 4,7% в Чехии, 3% в Венгрии и 7,3% в Польше. В Чехии рост умеренный, но вполне приличный, рост в Венгрии не очень значительный, но много выше, чем несколько месяцев назад (в марте он равнялся величине между 0 и 1%), польская экономика остается самой быстро растущей в Европе.

Успех преобразования кажется уже обеспечен. Почему в этих трех странах Центральной Европы, в которых начальные условия отличались и которые приняли различные стратегии, преобразование оказалось успешным?

Счастлирое сочетание начальных условий, последовательной правительственной политики и внешних обстоятельств – различных для каждой страны – все это вместе привело в движение новые системные механизмы, которые начали действовать и проявлять свою способность воспроизводить существенные черты новой системы. Политические и экономические деятели были вынуждены так или иначе к ним приспособиться.

Можно привести много доказательств в поддержку этого тезиса. Я упомяну лишь два.

В Польше все следовавшие друг за другом правительства (а их было немало), даже те, которые пришли к власти под лозунгом „избавления страны от преступного плана Бальцеровича“, про-

должали его осуществлять лишь с незначительными изменениями. Те, кто особенно резко выступали против него, во всяком случае, не смогли изменить направление экономической политики.

В Венгрии, где первое правое правительство пренебрегло прорыночными реформами, посткоммунисты, пришедшие к власти под популистскими лозунгами, внесли самые необходимые радикальные коррективы в экономическую политику.

В отличие от защитников тезиса, что авторитарным режимам легче проводить прорыночные реформы, а демократия создает им препятствия, я полагаю, что преобразовательный процесс в Центральной Европе свидетельствует о противном.

Экономические реформы, предпринятые в Польше и Венгрии при коммунистическом режиме, привели к искажению и деформированию рынка (в Венгрии) и оказались безуспешными (в Польше). Им не хватало системности, которая завела бы реформы далеко за пределы однопартийной государственной власти. Настоящий рынок можно создать только после установления демократической политической системы. Политические силы, правые и левые, авторитарных и популистских тенденций, принимают демократические правила игры, потому что эти правила дают им возможность победы завтра, даже если они потеряли власть сегодня, но при условии, что они не выходят из игры. И это, конечно, заставляет их воздерживаться от того, чтобы действовать прямолинейно в экономической политике, так как это исключит их из игры.

Каждая из анализируемых стран достигла успеха в преобразовании различным путем. В Польше большинство важных радикальных мер в экономике было осуществлено в экстраординарный период. Все бурные политические события, борьба и „война в верхах“ также имели место в начале переходного периода. Таким образом с течением времени политическая сцена смогла постепенно стабилизироваться и вскоре экономические реформы достигли „точки, после которой нет возврата назад“. Парадоксальным образом, это позволило посткоммунистам, пришедшим к власти к концу этого бурного периода, извлечь выгоды из стабилизации и длительного экономического роста. Таким образом, они могут получить немало преимуществ и стараются сохранить эту тенденцию, которая приносит им экономические, политические и моральные дивиденды.

В Венгрии и Чехии очень быстрая стабилизация была в известной мере искусственной, а провозглашение успеха в области экономики преждевременным. Это явилось причиной того, что этим странам пришлось разрешать несколько больше проблем в период нормальной политики и их экономический рост оказался медленнее. Тем не менее, в обеих странах были проведены необходимые корректировки. Следует помнить, что Чехия и Венгрия имели лучшие начальные условия, действовали более умело в области общественных связей, сумели привлечь гораздо больше иностранных инвестиций, чем Польша, и имели „скрытые ценности“, такие как старая Прага, которая привлекает миллионы иностранных туристов.

Таким образом, сочетание начальных условий, политики и внешних обстоятельств позволило в каждой стране начать системные изменения и довести их до „точки, после которой нет возврата назад“.

Я предсказываю аналогичный успех во многих других посткоммунистических странах, хотя он может достигаться медленнее и ставить больше проблем, нуждающихся в решении.

ОПАСНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Посткоммунистические страны, более или менее успешно осуществившие преобразование, не избавлены от проблем. Я не предсказываю нарушения демократии, по крайней мере, в трех центральноевропейских странах, которые здесь обсуждаются. Рыночная экономика здесь также сохранится. Она, однако, может быть деформирована вследствие развития коррупции. В Польше правящая коалиция экс-коммунистов очень умело создает принадлежащие номенклатуре или управляемые ею промышленные объединения на грани между государственной и частной экономикой. Даже если это делается легально, угроза коррупции очень велика. И венгерская, и чешская экономика уже имеют репутацию глубоко коррумпированных.

Демократическая смена правящих партий и правительств может, как это обычно бывает, содействовать борьбе с этой угрозой, однако не устранил ее полностью.

БИБЛИОГРАФИЯ

Balcerowicz, L., *Socjalizm, kapitalizm, transformacja*, PWN, Warsaw 1997.

Frentzel-Zagórska, J., *From a One-party State to Democracy: Transition in Eastern Europe*, Rodopi, Amsterdam – Atlanta GA, 1993.

Frentzel-Zagórska, J., *Transformation in Central Europe as Seen in the Making*, CREAS, The University of Melbourne, Melbourne, 1997.

Hankiss, E., *East European Alternatives; Are There Any?*, The Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1989.

Offe, C., "Capitalism by Democratic Design?", *Social Research*. Vol. 58, No. 4, Winter 1991.

Przeworski, A., *Democracy and the Market*, Cambridge University Press, Cambridge/New York/Melbourne/Sydney, 1992.

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МОСКВА - ИЕРУСАЛИМ“

предлагает книгу

АЛЕКСАНДРА ВОРОНЕЛЯ

« В П Л Е Н У С В О Б О Д Ы »

Сборник историко-литературных эссе, посвященных анализу социальных процессов, преобразивших Россию и Израиль в XX веке. Автор рассматривает эти процессы как своеобразную религиозную Реформацию. Центральная проблематика книги сосредоточена вокруг вопроса о смысле и ограничениях понятия «свобода», о чем говорят заголовки ее разделов:

1. Свобода как неосуществимый проект.
2. Свобода в практическом применении.
3. Свобода как исполнение завета.

304 стр. В Израиле – 36 шек. Вне Израиля, с пересылкой – 16 долларов.

Чеки и заказы посылать по адресу:

"Moscow-Jerusalem", P.O.B. 44050, Tel-Aviv 61440, Israel.

КНИГИ И ЛЮДИ

Анатолий Добрович

«Я МНОГО ЛЕТ ЖИВУ ВО ВЛАСТИ СЛОВ...»
(И. Келейников, «Клубки дорог», Хадера, 1998)

Выходцев из Сов. Союза, пишущих русские стихи, такое множество, что в этом просматривается некий социально-психологический феномен, характерный для взрастившей нас культуры. По всей вероятности, наше стихописание есть способ предъявления себя... не столько даже обществу, сколько самому себе. Наши стихи – зеркало, в котором мы выглядим, как нам кажется, такими, какие мы есть „на самом деле“. То есть – благородными, умными, утонченными и в любом случае интересными... Эта реализация *потребности в самосознании* (по Э. Фромму) не хуже всякой другой, а по правде говоря, и лучше других. Невиннее, безопаснее для окружающих. Конфуз только в том, что мы чаще всего рядимся перед зеркалом в чужие наряды, в бумажные слова: то ли здесь отсутствие подлинной индивидуальности, требующей незаемного выражения, то ли решительный недостаток вкуса... А скорее всего – обезьянье (и актерское) удовольствие от подражания: имитируя царственный жест Цезаря, на секунду становишься Цезарем, и невдомек тебе, что имитация выходит нестерпимо пошлой: 99 из ста прибегнут к тому же выхолощенному шаблону... Стоял перед зеркалом, восклицал „Я есмь“, а тебя, собственно говоря, „несть“. Это ожесточает. Мы не можем простить миру нашего в нем отсутствия.

Тем примечательнее каждый случай, когда стихописатель-непрофессионал (профессионалы – другая статья: эти свинчивают и развинчивают тексты в расчете на шумный успех) прорывается сквозь шаблоны „поэтической речи“. И – виден человек... Хорош

ли, красив ли человек, выглянувший из текста? Да уже тем хорош и красив, что выявил свое, а не чужое лицо. Едва почувствовав это, вы готовы простить ему литературные огрехи, присущие дилетантству – так сказать, несовершенное владение пером. Его удача в одном стихотворении компенсирует неудачу в другом, и это другое вы уже читаете с пониманием намерений автора. Киваете в такт. А прочтя с десятка стихов, убеждаетесь, что имели дело...с поэтом. Господа, „поэт“ это не звание, не должность, – это душевный склад, простите за напоминание. Вот послушайте:

Деревья в тучах.
На черных листьях блестит луна.
Блестит луна.
Деревья в тучах теряют шум.
Прибоем грусти,
глубоким небом душа полна.
Душа полна
прибоем грусти, когда пишу.

Или:

...и так легко уносятся в пространство
иллюзии добра, букет сирени,
чердак в пыли, изломанные жесты,
последний шепот мамы, бунт сыновний,
попытки выжить, теплый лоб собаки
(не прикоснуться к ним и не проститься)...

Или (из стихотворения „Прощай, мать“):

Девичий щебет. Соловьи и розы.
Гимназия. Усадьба. Лошадь во дворе.
Бандиты белые. И красные бандиты.
Как живо все! Как далеко, что живо!..

Эти строки в разные годы написаны Иосифом Келейниковым, врачом, нашим „дважды соотечественником“, довольно давно живущим в Израиле. Он решил издать книгу своих стихов – и правильно с делал. Потому что:

Жирная почва томится. Испуганно ждет.
Слов семена набухают желаньем взорваться.
Сыплется дождик. И просится в небо заря.
Недра безмолвные переполняются словом.

Переполненность словом – наиболее веский, может быть, повод к тому, чтобы этим словом поделиться с другими. „Друзья хмелеют от моих стихов“, обнаруживает пишущий. Но что-то постоянно мешает ему объявить себя поэтом. Отвращение к позе. Аллергия к слащавости. Некая пугающая тяжесть внутри – ее можно принять за крутость нрава, даже за тайный цинизм, но она сочетается с неуверенностью в себе, с болью, и оказывается тяжестью постигнутой и неотменимой правды существования.

То, что мешает ему объявить себя поэтом, – поэтом его и делает!

Книга называется „Клубки дорог“. Читается она и слева направо, и справа налево (от задней – для нас – обложки): полкниги занимают стихи, написанные И. Келейниковым на иврите. Судить об этих стихах предоставим сабрам. Русские же стихи тянут к себе: перечитать. Притягивает насыщенность речи – верный след духовного напряжения как „поля“, в котором живет человек, сознавая значительность своей судьбы. Притягивают и несовершенные, но метко выстреливающие рисунки автора в книге.

Что до судьбы: у трехлетнего мальчика забирают отца, сажают в лагерь в Коми; мать остается единственной опорой ребенку и самой себе; волчонок, повзрослев и набрав силы, прорывает кордон империи и меняет Сибирь на Ближний Восток, как бы удвоив жизнь и речь (внедрился-таки в иврит!). Все это в книге угадывается, а не бросается в глаза. А в глаза бросается другое: всю свою жизнь человек остается в диалоге, порой в споре с отцом и матерью, несет их в себе, продолжает их собою. И кажется, перед нами трое, а не один... Случай нечастый.

Жаль, если среди обескураживающего потока русских поэтических сборников, выходящих нынче в Израиле, эта книга останется не замеченной читателем. Уж она-то его заслуживает.

ВРЕМЯ УЧЕНИЧЕСТВА

(Альманах «Кедр», выпуски 1 и 2. Иерусалим, 1998 год)

Приветствую альманахи! Всегда интересно взять в руки какой-нибудь неказистый сборник, чтобы среди нагромождения незнакомых творений выделить что-то новое, странное, необычное, согретое огнем таланта, дабы запомнить имя автора и следить за его дальнейшими „литературными изысками“.

Случаются и „командные парады“, когда особо удачливый издатель ухитряется собрать под одной „крышей“ шесть-семь интересных находок. В этом случае сборник не передается в другие руки, а аккуратно закладывается на книжную полку, – для возможного к нему возвращения. Правда, бывают и абсолютно противоположные явления. (На что только бумагу переводят, изверги!)

Впрочем, все изложенное предельно субъективно. У каждого читателя свой взгляд, „вкусовщина“ в этом деле процветает и неистовствует, а посему не будем развивать тему – вернемся к конкретике: в нашем случае, к двум аккуратненьким книжкам, именуемым „альманах поэзии и прозы „Кедр““.

Очевидно, „между первой и второй – промежутки небольшой“, а потому позволю себе рассматривать альманах „Кедр“ как единую книгу, в которой издатель стремится представить нам как можно больше новых (либо не очень новых), по-настоящему еще не прозвучавших имен.

Начнем с прозы. Она не столь широко представлена, нежели поэзия, но заслуживает не меньшего внимания.

Оригинальна притча Александра Видгопа „Падающие на нас птицы“. Занимателен сам сюжет, интересны ассоциации, возникающие при его осмыслении, образы, показанные автором. Но хочется пожелать более аккуратной работы со словом. Слишком

много явных огрехов, портящих хороший замысел. Скажем: „Стоя на площади, я задрал голову и тотчас заметил еще пару черных точек, с высоты сигающих вниз“. Миль пардон, „сигают“ с балкона или из окна, но никак не с высоты птичьего полета.

„Белую пряную Польшу“ Леонида Левинсона я отнесу к первым „литературным опытам“. Чувствуется попытка поймать некое настроение, ощущение, передать за бытовой картинкой нечто большее, чем эротические „подвиги“ незадачливого туриста в соседней стране. Не все получилось, но для „пробы пера“ неплохо.

Гораздо сложнее со сказкой Владимира Магарика „Еще три поросенка!“ Все и в самом деле довольно мило. Написано просто и доступно. И вполне симпатично. Просится в газету, в рубрику „Прочтите детям“. Но причем тут альманах?! приходится посоветовать на редактора: зачем включать в сборник абсолютно „иностранную“ ведь? Только из-за того, что недурно изложено? Ради некоего „усиления“? Не сыграло.

Самое время пуститься в недолгое рассуждение о роли редактора и малость поностальгировать. Помните те добрые старые времена, когда каждое уже попавшее в план издание, будь то альманах или индивидуального авторства книга, несколько лет лежало в виде рукописи в шкафу, а уж потом, после многочисленных звонков, визитов и напоминаний, оказывалась на столе у редактора? У этого серого, невзрачного лицом человека, объединявшего в себе функции цензора, критика и стилиста. Вечно усталый, небрежно причесанный, то и дело протирающий очки в широкой оправе (иногда – еврей!) он смотрел на вас, как на личного врага, стремящегося лишить его последних мгновений покоя. Особенно, если вы подходили под статус „молодого, начинающего, перспективного“ (согласно установкам СП СССР – до 35 лет).

Но несмотря на все обстоятельства, на возможную личную неприязнь (особенно, если он – еврей, а вы – не русский), тот самый стандартный редактор безжалостной рукой выкорчевывал все сорняки с вашего литературного огорода, освобождая грядки от ошибок творческого процесса. Убирая откровенно слабые вещи, дорабатывая средние и до блеска отполировывая сильные. Редактор! Мы считали тебя скрытым врагом, преграждающим путь нашим самым смелым, неординарным и выдающимся творениям.

Мы ошибались. Где ты сейчас, ныне милый моему опытному сердцу редактор? Почему не встанешь на пути сотен „самостий-

ных“ издателей-поэтов, дорвавшихся до печатного станка и норовящих угостить нас своим немеркнущим словом?! А-у! Услышишь ли?

Не помешал бы подобный редактор и альманаху „Кедр“. И прежде всего ему следовало бы обратиться к поэтическим строчкам.

Они, к сожалению, не равнозначны. Слабые и серые могучей толпой обступают яркие и светлые. Такие, как стихи Ларисы Володимеровой: самобытные, с явственным почерком мастера, собственным миром – в коем перемешаны напор, натиск, глубина чувств и свежая неожиданность знакомых слов. Подобные стихи не имеет смысла цитировать: их надо читать полностью.

Интересными кажутся строки и Ави Дана. Иногда им просто не хватает строгой самооценки, иногда автора захлестывает саморазрушающая ирония, но разве не привлекательно такое откровение:

Время не переспоришь и не сотрешь с лица.
Но, ощущая в крови слишком его избыток,
Будешь еще тащиться с ношею до конца,
Чтоб отыскать свой профиль с той стороны открыток.

Здесь хочется поработать со второй строчкой – не более. Да само стихотворение, откуда взята данная строфа, поражает искренностью и точно найденными метафорами.

А вот простой, но точный и милый набросок Ирины Тверской, говорящий намного больше об авторе, чем иные поэмы или венки сонетов.

В этой маленькой клетушке
На столах и полках книги.
Одеяла и подушки –
Суть интриги.
Наливай! Остынут кружки!
Брошен месяц на весы.
Как пичуги у кормушки,
Гомонят в углу часы.
Заполночь. Душа сгорает
Между рук и простыней.
Безымянней не бывает
Этой повести моей.

Поразительно чисты и по-детски наивны строфы Элины Альтшуль:

Кусочек счастья украду
И положу в карман.
Для счастья я на все пойду –
На грех и на обман.
Не утрашусь сгореть в огне,
Уйдя за круг земной.
Кусочек счастья нужен мне,
Пускай любой ценой.

Остальные стихи удивляют некоторой похожестью. Нет, не одинаковыми рифмами, размерами или мыслями. Скорее, страстным желанием выразить собственное „я“, пробиться к читателю, попыткой „застолбить“ свой участок. И это большей частью не удается. Ощущается определенное „бремя ученичества“.

В свое время были популярны литературные кружки. Их члены писали стихи и рассказы, обсуждали созданное, а лучшее записывали в большой общий альбом, этакую „литературную книгу“. Обычное явление семинара, традиционной литературной учебы. Кому-то оно помогало встать на уровень выше, преодолеть барьер ученичества, а большинство осталось только членами кружка или, при особом рвении, превращались со временем в обыкновенных графоманов.

А теперь представьте, что такой альбом обретает вид альманаха, присваивает себе титул международного и издается энным тиражом (содержание, при этом, конечно остается прежним). Немудрено, если значительная часть обоих „Кедров“ предстает перед нами в качестве ученических попыток (и не всегда удачных!). По части литературной учебы сие весьма недурственно и служит отличным стимулом, но вот для значительно большей аудитории... (Не сердчайте на меня, ребята. Я все-таки прочел ваши сборники от корки и до корки. Я сделал это!)

Дабы не быть голословным, приведу некоторые из возможных многочисленных примеров. Здесь и безвкусице, и банальность, и завышенное самомнение, а то и явная пародийность.

Напрасно ты стучишься в двери,
Любовь здесь больше не живет...

Она не вынесла – истлела,
Без топлива погас костер.

...

Ее глаза – как омуты, бездонны,
В них отразились все мои цветы...
(Константин Березовский)

Наш круг любви как циркулем отмерен,
По лимбу, как по грани из стекла,
Жесточкой ограниченности верен
Распространитель страсти и тепла.
(Максим Барский)

Ты спишь, уткнувшись носом в пух подушки –
Расслабленный от пяток до макушки,
А я смотрю, смотрю, смотрю, присевши с краю...
Тут страсти нет. От нежности сгораю.
(Ирина Тверская)

А потом уйду в деревья,
Травы и кусты.
И, конечно же, останусь
В том, что любишь ты.
(Жанна Пиковская)

Я не умею лгать, и не хочу!
Не ложь дарует луч животворящий.
Достаточно того, что я молчу
Во лжи, не от меня происходящей.
(Александр Гройсман)

„Да, – сказал бы мой старый ненавистный редактор, ознакомившись с вышеприведенным, – какое широкое поле для работы.“ И, разумеется, оказался бы прав. Пахать еще и пахать.

Но, наверно, не так уж и плохо побывать в шкуре ученика, особенно если в учителях твоих Слово, белый лист бумаги и само время, тревожно присевшее на соседний стул. Возможно, что-то и выйдет. По крайней мере, так хочется на это надеяться.

Ирина Двосина. Актриса, живет в Хайфе.

Петр Межурицкий. Поэт, логопед по профессии, живет в Ор-Акиве.

Ицхак Орен. Израильский писатель, см. «22» № 82, 83, 102, 105. Живет в Иерусалиме.

Павел Файнштейн. Художник, живет в Берлине.

Микки Вульф. Писатель, журналист, см. «22» № 109. Живет в Тель-Авиве.

Михаил Вассерман. Инженер, живет в США.

Александр Карабчиевский. Писатель и журналист, см. «22» № 81, 107, 108. Живет в Тель-Авиве.

Вадим Ротенберг. Профессор психологии и публицист, см. «22» № 82, 89. Живет в Бат-Яме.

Дмитрий Хмельницкий. Архитектор и публицист, см. «22» № 81, 95, 96, 99, 102. Живет в Берлине.

Давид Авидан. Израильский поэт-модернист, см. «22» № 108, 109. Умер в 1996 г. в Тель-Авиве.

Злата Зарецкая. Театровед, см. «22» № 95, 96. Живет в Маале Адумим.

Михаил Румер-Зараев. Российский журналист. Живет в Берлине.

Дмитрий Шляпентох. Писатель и советолог. Живет в США.

Янина Френтцель-Загорска. Польский социолог. Живет в Варшаве.

Анатолий Добрович. Профессор психологии, поэт и публицист. См. «22» № 82, 86, 89, 91, 92, 93, 97, 100, 107. Живет в Ришон ле-Цион.

Влад Кессельман. Псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

Главный редактор – Александр ВОРОНЕЛЬ

Редакционная коллегия:

**Н. ВОРОНЕЛЬ, Н. ГУТИНА, А. ДОБРОВИЧ,
А. ДОНДЕ, Н. ДРАЧИНСКАЯ, Э. КУЗНЕЦОВ,
М. ХЕЙФЕЦ, Д. ЦИФРИНОВИЧ, И. ЧАПЛИНА,
Н. БАСОВСКИЙ, В. КРАСНОГОРОВ, Э. БОРМАШЕНКО**

*Заведующая редакцией – Мирьям БАР-ОР
Компьютерная обработка. – Нина РАДАЙ
Печать – издательство «МЕРКУР»*

*Всю корреспонденцию направлять по адресу:
«22», Р.О.В. 44050, Tel-Aviv 61440.
Телефон редакции – 03-7394525*

Электронный адрес: <http://folding.tierranet.com/22>

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству «Москва – Иерусалим» и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 120 шек., для организаций – 130 шек., за рубежом – 80 долларов (авиапочтой в Европу – 90, в США – 95 долларов), для организаций – 100 долларов (включая пересылку).

Стоимость подписки для новых репатриантов (до 1 года в стране – 90 шекелей (с рассрочкой в два платежа).

*Отвергнутые рукописи не возвращаются
и в переписку по их поводу редакция не вступает.*

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

.....

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

Наш адрес: "22", Тель-Авив 61440, п/я 44050

